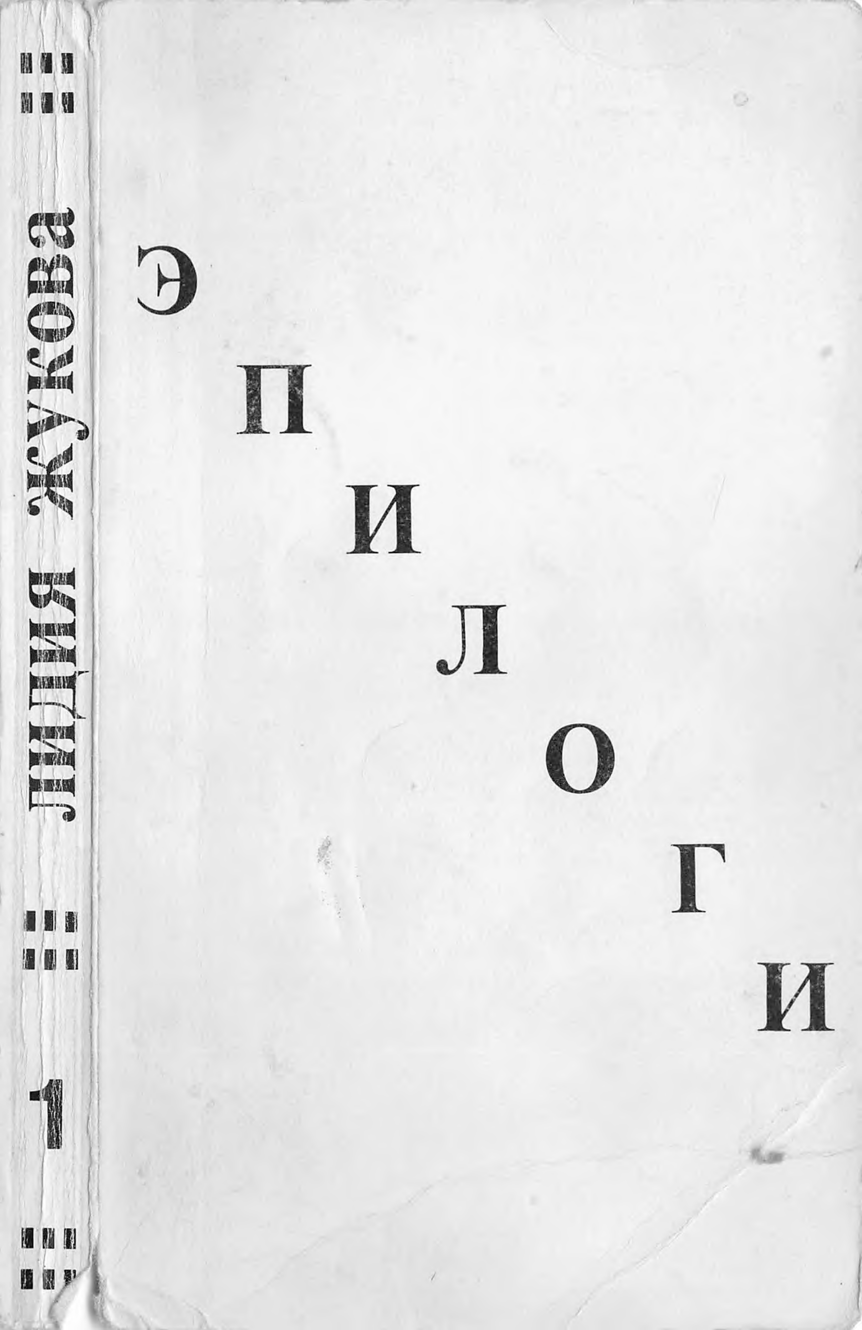

Лидия Жукова
1
Эпилоги

ЛИДИЯ ЖУКОВА

ЭПИЛОГИ

Конечно, вы не дрогнете,
Сметая человека,
Что ж, мученики догмата,
Вы тоже жертвы века.

Борис Пастернак

КНИГА ПЕРВАЯ

CHALIDZE PUBLICATIONS NEW YORK 1983

LIDIA ZHUKOVA

EPILOGUES

Vol. I

Published by Chalidze Publications
505 Eighth Avenue,
New York, N.Y. 10018

Manufactured in the U.S.A.



ТАТЕ И ВНУКУ МИТЬКЕ

СОДЕРЖАНИЕ

Первая встреча

В очереди, в которой ничего не дают, ни мерзлого мяса, ни селедок, ни заграничных сапог, – в них бы так уютно ногам, когда мороз щиплет кончики пальцев, ехидно и больно щиплет, – в долгой, послушной очереди без склочного "вы тут не стояли", в эти тягучие часы, когда прислониться бы к стене или опуститься на пол от дурноты, и когда все-таки держишься и покорно топчешься, и ждешь, когда же будет это счастье сунуть в зарешеченное окошко передачу, те рубли, которые полагаются, я впервые увидела Ахматову. Впрочем, до этого был такой эпизод. Шумной бандой, очень юные и влюбленные в стихи, пришли мы на вечер Мандельштама. Коля Чуковский вдруг сунулся в ряд, где одиноко сидела женщина в темном. Было ужасное смущение, потому что хамоватый Коля вдруг стал гнать эту женщину: "Это мое место". Она не поднялась, только недоуменно подняла свои полутатарские глаза. "Это Ахматова", – шипели мы Коле, а он тупо стоял на своем: "Но это мое место". Потом расселись и все это забылось.

На Шпалерной, – я ходила туда узнать о брате, – разговор был краток: "от кого-кому". Вот и ее черед, она подошла к окошку-щелке, – там какие-то петлицы и неприступный манекен; негромко, не разжимая рта, она произнесла положенное: "Ахматова-Гумилеву". Я потом

замечала эту ее манеру говорить едва шевеля губами, складывая рот трубочкой. Она иногда говорила очень внятно, низким, "поставленным" голосом. А иногда вот так, когда трудно, едва шевеля губами, складывая рот трубочкой, своим особым ахматовским шепотом. "Ахматова-Гумилеву!" По застывшей очереди волной отзывались эти имена. Льва Гумилева, сына двух поэтов, наказывали за грехи отцов, быть может только за то, что они поэты. А она все тащилась на эту кому неведомую Шпалерную со своим уже автоматическим и жутковатым, – "Ахматова-Гумилеву". В чем-то длинном, темном, тяжелом, она показалась мне фантомом прошлого, мне и в голову не приходило, что эта старомодная дама в неуклюжем пальто и шляпке напишет еще столько новых гениальных стихов, и мне посчастливится слышать их от нее самой, из этих неразжимающихся губ, чтоб я не записывала, а запоминала, что великий поэт, она иной раз спустится ко мне вниз, в мою ташкентскую комнатушку, и вместе будем мы вталкивать в себя неостывшую рисовую кашу, дошедшую наконец на этом упрямом азиатском чугунке. Он был мучителем, этот низенький таганок, на нем все так медленно доходило, так долго не закипало. Иногда суп варился целый день, и только к вечеру мы хлебали эту горячую жижу все с тем же рисом.

Связь между нашими комнатами была несложной. Либо она стучала мне палкой об пол, либо я колотила в потолок длинной метлой. Это

был наш телефон. Моя метла означала приглашение к столу. Она охотно спускалась со своих небес: каша, так каша! Она приходила с новостями: Письмо от Владимира Георгиевича Гаршина! А однажды, – она так радовалась, – пришел денежный перевод на двести рублей. Двести рублей – это буханка хлеба и еще оставалась мелочь. С Надеждой Яковлевной Мандельштам мы отправились на знаменитый Алайский базар. Он подавлял фламандским великолепием. Но что нам до этих благоухающих дынь, до ощерившихся свои кровавые пасти арбузов. И этот виноград, как хрусталь! Все это не для нас, и не для Ахматовой! Мы обменяли хлеб у одноногого, с лиловато-малиновой физиономией узбека на какое-то адское зелье. И потом пили, и закусывали вишнями, купленными на то, что осталось от двухсот рублей. И проболтали полночи. Заговорили почему-то об Эренбурге, что он, европеец, сделанный писатель, а вот, – нашел ключ к солдатским сердцам! Он был очень популярен на фронте. И тогда Надя Мандельштам своим надтреснутым, ломающимся голосом очень уверенно и спокойно изрекла: "Что ваш Эренбург! Дайте срок и я заткну за пояс вашего Эренбурга". Не слишком-то скромно! Может, она что-нибудь и писала, но кто это видел, кто читал? Но срок пришел!

Все та же планета

Иногда я просыпаюсь с ужасом. Прямо в глаза бьет желтый фонарь и воет ветер. Город ветров – "Уинди сити". Чужой ветер, чужое окно. А утром в Линкольн-парке мне странно, что я на земле, оказывается, на той же земле, и небо как небо, уже выгоревшее, мутное, и трава как трава, и дети орут и ревут, и собака, подошла, глянула подозрительно, подумала и побрела себе... Я на той же планете, но чем больше этого обыкновенного, земного, такого же, тем острее новое, – неправдоподобная синева "лейка", холодного, заколдованного Мичигана, и легкие бабочки-яхты у причалов, и пестрая лента бесноватого "хайвея", и силуэт Даун-Тауна, его мрачные великаны, переросшие все города мира. Чикаго! Здесь я буду жить. Теперь это мой город. Смешно, Чехова американцы называют "Чековым", а Чикаго у них "Чихаго". Казалось бы, что за проблема, – всего полсуток до Москвы, дремли себе в кресле или смотри какое-нибудь "муви" с пальбой и мордобоем, потягивай пепси, – с милым мурлыканьем протягивает тебе стаканчик стюардесса, и вот оно, Шереметьево. Но все сработано так, чтоб этого никогда не было, ни воздушных мостов над широкой серой рекой моего детства, ни моей московской Бережковской, – выйдешь из дому, и на той стороне золотые купола Новодевичьего. Хитро придумано, настигать нас всюду, добивать не мытьем, так катаньем, невозможностью, новым бесправием, страшным словом "никогда"...

Писать просто, писать правду? Это гораздо труднее, чем кажется после всех этих ”свершений”, ”достижений” и прочего газетного мусора, принятого в том моем ремесле. Были и просветы, что-то удавалось сказать, если не правду, то хоть полуправду, но в общем все то же, ”все та же гитара”, как поется в одном жестоком романсе.

Театральная рецензия! Казалось бы, какой это камерный, мирный, какой далекий от житейских бурь жанр, – от политики, от ”рева событий мятежных”. Театр, – это как бы особая республика. Но только не там... Константин Симонов как-то многозначительно изрек: ”Актер – всегда политик”. Почему же только актер? В советском театре все политика, не только пьесы, но и цвет волос инженю, длина ее юбки, цвет ее глаз, – все может быть ”народно” и ”антинародно”, как заблагорассудится понять начальству. Даже о парике ”Прекрасной Елены” писать трудно, и тут можно разойтись во мнениях с вышестоящими товарищами. Кто только не решал судьбу каждой моей газетной строчки, к кому только не попадали они на расправу: сначала просто редактор, так сказать, нижний чин, иногда очень милое существо, с ней или с ним мы приятели, мы в заговоре против редакторского генералитета. Но потом какой-то грозный ”зам”, потом ”главный”, потом загадочный ”секретариат”, потом какие-то таинственные личности где-то в преисподней. Они читают, решают, сокращают, дописывают, выкидывают. В ”Правде” меня вполне деловито

предупреждали, что надо бы прорваться в типографию, потому что "все может быть". И все бывало. Бывало, что все становилось с ног на голову, что-то выскакивало или "вскакивало", и стыдно смотреть людям в глаза.

Театральный критик! Не профессия, – праздник! За сценой пахнет клеем, пудрой, краской, потом. Сладостный запах театра! Режут глаза софиты, что-то приколачивается, летит сверху ставка, долго колышется, никак не приземлится. А актеры, размазанные, с дикими, обведенными углем глазами, в перьях, стеклярусе, лохмотьях, толкуться за кулисами и вдруг здоровается с вами какой-то гранд в жабо и ботфортах, весь в гумозе, толщинках, бархате, а то и просто некто в пиджаке и при галстуке, но с тем же углем под глазами, и вы только потом соображаете, что этот весь раскрашенный ведь был ваш старый приятель, – Вася или Володя. Театрального критика как правило пускают за кулисы. Он там дома. Там колдуют и он к этому причастен. А потом ажиотаж премьер, когда работа за столом, книги, вчитывания и вот она, свежая полоса с твоим именем. Не жизнь, малина! Это для тех, кто не знает, что такое "космополитизм", кампания против театральных критиков – "антипатриотистов", которым и "свиней нельзя доверить пасти". Насчет свиней, это не фигурально, это цитата из "ЦО нашей Партии". И вот просыпаются утром трудящиеся великой советской державы и читают в центральных, областных, районных газетах, в многотиражках бань и пивных, что

появились-де в стране опасные враги – театральные критики. Большинство и не знает, что это за звери такие, эти театральные критики!...

Бурки, Петроград, Блок

Начало двадцатых было для меня и моих сверстников и привольным, и бездумным, хоть все атрибуты военного коммунизма были в зените, – пустынность, жестокость, чадящие, мгновенно пламенеющие и тут же остывающие "буржуйки", суп из воблы, пшенка, от которой першило в горле, словом все, что давно стало фольклором. Целую зиму мы с моим братом Сережей трудились, засовывая в узенькие трубочки сахарин, чтоб заработать себе на вожделенные войлочные бурки. Морозы стояли нешуточные и эти матерчатые бурки, окантованные коричневой кожей, были предел мечтаний. Вот и глотали мы эту мерзкую сахаринную пыль до самой весны, когда эти проклятые бурки уже не нужны. Я всеми силами старалась улизнуть из дому, дома был полный мрак. Уже отсчитывал свои первые ссыльные сроки мой старший брат Маркуша (его назвали так в честь героя гончаровского "Обрыва". И чем только приглянулся моим родителям этот русский хиппи того века?!) Маркуша еще в гимназии примкнул к плехановской группе "Единство", отколовшейся от большевиков. И стал он меньшевик, пошли ссылки и тюрьмы, допросы и этапы, запахло доброй, старой каторгой. Я убегала из дому от маминых глаз, ее молчания, от гнета беды.

Зимний снежный Петроград был малолюден, и кичливая красота города словно распахнута и обнажена. Все-таки, хоть и колыбель революции, это был еще и старый Питер, еще жив был его "латинский квартал" на Неве, еще обитало рядом со львами и ампиром в нем племя старых петербуржцев, особый класс уникальных эрудитов, безумцев, поэтов, от которых не осталось сегодня и следа. Уже расстрелян был Гумилев. Помню строфу Иды Наппельбаум, дочери знаменитого фотографа, поэтессы, в доме которой собиралась гумилевская "Звучащая раковина":

"Ты правил сурово, угрюмо и прямо,
Твой взгляд словно молния, голос-гроза,
Пусть запахом меда пропахнет та яма,
В которой зарыты косые глаза".

Но были и жертвы "романтического коммунизма", и им задурили голову "живописные лохмотья" революции. Мир плох, мир надо исправить, и пусть голод, "лохмотья", – революция выполнит свою великую миссию! Даже Блока сумел заманить этот зловещий маскарад. Для меня, моего поколения Блок был собственностью, поэтом нашего туманного города с его особым запахом весны, желтыми фонарями, Крюковым каналом, волшебным, мерцающим миром геометрических пересечений, города "бледных женственных ликов"... И вот, Блок умер, изнемог, истаял...

Злой Бунин, гениальный, но злой, назвал Блока в своих записках дураком. Он вообще

не любил символистов, а тут еще эти блоковские предчувствия. Еще до "великого октября" Блок выразил эту свою мечту о "переменах":

... И черная земная кровь
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи.

А потом "Двенадцать". Разнузданный пляс революции, кровавую октябрьскую вьюгу Блок осенил христовым "белым венчиком из роз". Но у Блока есть ведь и другое:

"О, если б знали люди вы,
Холод и мрак грядущих дней."

Мы часто потом гурьбой ходили на "блоковскую дорожку" на Волковом кладбище, – большая, широкая аллея немоты, где на березе, большой и мощной, у самого края могилы Блока кто-то ножиком вырезал: "Ты в поля отошел безвозвратно". Буквы росли вместе с березовой корой, вытянулись, замысловато растанцевались, – какая-то фантастическая клинопись! Выветрило ее давно, должно быть время, да и жива ли та береза?...

У меня был дядя, коротенький, толстенький, смешной человечек-композитор. Когда-то он учился в Консерватории у Лядова, дома говорили, что его отличал Антон Рубинштейн, даже псевдоним ему придумал – Чернявский. Но дядя предал высокое искусство, его закружила легкая слава (и легкие деньги), и он стал сочинять всякие "Василечки-василечки" и "Любовь не всегда наслажденье". Это у него получалось, его романсы распевались модными певичками, – дядя аккомпанировал им своими неповоротливыми, толстыми как сардельки пальцами, причем превосходно. "Василечки" становились музыкой. Он был частью питерской богемы, дружил с Куприным и ходил с ним в цирк Чинизелли на клоуна Жакомино, эпатировавшего царскую столицу политическими экспромтами.

Теперь, после "великого октября", в дядиной замшелой квартире, когда-то барской, – сбежала жена-певичка, – в кучу были свалены ноты и дрова, и то, и другое на топливо. Кругленького дядю мы всерьез не принимали. Завидев издали этот колобок в шляпе и с белым шпицем, мы с Сережей бросались врассыпную. Сережа успевал спрятаться в подворотне, я попадалась, и тогда дядя сокрушался: "Эх, племянничкн..." И вытаскивал контрамарки. Он не был мстителен. Счастливые, мы втискивались в темные, набитые до отказа ложи Мариинки, чтоб простояв в парилке весь спектакль, до

боли, до дурноты извертев шею, увидеть завораживающий, светящийся кусочек сцены. Тягуче и долго тянулась нить "Кольца Нибелунгов", вязалась бесконечная вагнеровская мелодия. В красно-золотой Александринке Фамусова играл великий Давыдов, дряхлый, шамкающий, шаркающий. Были концерты душки Собинова. Его сладкие, высокие звуки превращали "собинисток" в полоумных. Но самое интересное, к чему приобщил нас любящий дядя, был Кони. От дяди мы и узнали, что А.Ф. Кони подсказал сюжет "Анны Карениной" Толстому, председательствовал на суде, когда оправдали Веру Засулич, и что он был великий оратор. И вот он перед нами, эта живая легенда: высохший грибок, сбившийся, трепаный комочек, зачем-то доживший, дотащившийся до всего этого абсурда. Мы бегали на его выступления в какой-то выстуженный клуб на Колокольной, около Кузнечного рынка, благо рядом с домом. Насчет его лекций в городе прохаживались: "Иисус Христос по личным воспоминаниям". Он, действительно, помнил и знал всех, всех великих последнего великого века, — он был с ним на равную, видел их глаза, слышал их голоса, Достоевского, Толстого...

Как-то иду по Надеждинской, смотрю — перед подъездом стул, обыкновенный домашний стул, а на нем знакомая тряпичная кукла. Греется на солнышке. Великий Кони...

Компания

Вскоре у меня завелась своя компания и "лучшая подруга" Марина. Мы вместе учились музыке в Музыкальном Техникуме у Евгения Федоровича Гировского, изумительного пианиста с ужасным комплексом: на эстраде он сбивался, забывал "текст", обычно на одном и тот же месте. Для нас, шестнадцатилетних, это был гений, этот милый, красивый, похожий на Шопена неудачник. Возвращаясь с уроков, наглотавшись музыки, мы с Мариной "концепцировали". Это было тогда наше любимое, самими изобретенное слово. "Давай поконцепцируем" – это значило поговорить о "высоком", о Скрябине, его уменьшенных квинтах, нежной пряности его гармоний, или о Настасье Филипповне. И тут Марина, вечно ржущая, дрыгающая длинными своими ногами, экспансивная Марина делала скорбное лицо. Тогда-то она и подарила мне свою фотографию, – беленькая девочка где-то в поле, с фразой из "Идиота": "Сострадание есть быть может единственный и самый главный закон человечества". С тех пор прошло более полувека, а мне все еще не по себе, когда попадается мне на глаза этот глянцевитый, мятый кусочек картона с марининым "состраданьем". Были в моей жизни люди, для которых сострадание действительно было законом, но Марина?...

Мы встречались у Риты и Лели Арнштамов, на Староневском, за Николаевским вокзалом (теперь Московским). Здесь-то и образовалась

компания. К Леле (его звали Лев) приходил Коля Чуковский, розовощекий, очень важный, очень довольный собой, сын знаменитого писателя, весь в легендах про Леонида Андреева, Горького, Репина. Он писал стихи, Горькому понравилась его школьная поэма "Козленок", и на нашем невзрослом фоне Коля уже был личность. Обычно он приводил с собой девицу, которую звали Татьяной Лариной. Уже это само по себе было замечательно: та самая Татьяна Ларина, которую сначала отверг Евгений Онегин, чтоб потом "улыбку уст... ловить влюбленными глазами". Но эта Татьяна не была ни "печальна", ни "молчалива", и вообще, кроме имени ничем на пушкинскую героиню не походила, – обыкновенная, весьма заурядная девица с кудеречками. И все-таки мы трепетали. Коля пыжился, изображал из себя гусара и циника. От него я в первый раз узнала, что его отца Корнея Ивановича зовут вовсе не Корней Иванович, а Николай Иванович, что настоящая его фамилия Корнейчук, а Чуковского он придумал сам, положив начало целой писательской династии. А дальше шла какая-то неправдоподобная галиматья.

Впрочем! Я не исследователь, и все это может оказаться всего лишь испорченным телефоном. Но отчетливо помню, как бойко плел Коля свои фантастические истории об отце своего отца, что он был еврей и раввин (причем тогда Корнейчук?), а женился он романтически на православной. И тут Коля с каким-то только ему свойственным хамоватым спокойствием

добавлял, что бабка его была из портовых... (?!). Что тут было бравадой и враньем, и есть ли тут крупицы правды, повторяю, — я не знаю. Коли уже давно нет в живых, так что на слове его не поймаешь. Сам он любил про себя говорить, что он "полужид-полухам".

Корней Иванович относился к своему кронпринцу с восторгом, и с юмором. Подсмеиваясь над его "четырнадцатилетним нигилизмом", он как бы не замечал, что крылось за этим "нигилизмом", — пренебрежение к людям. Оно отнюдь не было "четырнадцатилетним", это пренебрежение, оно осталось с Николаем Чуковским до конца его дней. Красного словца ради Корней Иванович как-то прошелся насчет Коли с особым чуковским озорством: "Сын критика и сам в душе кретин". И еще из чуковских "экстраваганц". Все человечество Чуковский делил тогда на "физисов" и "психисов". Коля у него был "физис".

Шли дни. Уже не было колиной "милой Тани". Мы дурачились у Арнштамов, и как-то взбрело нам в голову разыграть шуточную свадьбу Коли и Марины. Он до этого и не смотрел в ее сторону, — так, какая-то дрыгающая ногами девченка, — а тут вдруг посмотрел. Теперь, когда возвращаясь домой, мы брели с Мариной по Староневскому, она концепцировала о любви. Коля писал ей под Фета:

"... А когда спустится мгла, не твоя ли?
Хочешь, не хочешь, — с собой позови,
Знаю, ты будешь играть на рояле,
До полуночи, до слез, до любви..."

Он был способным поэтом, но у него не было, как теперь говорят, "своего голоса". Он жил осторожно и важно. Они поженились, даже в церкви венчались в угоду марининой маме, бывшей княжне и смолянке. В церкви мы расшалились, кто-то хихикал ("Религия – опиум для народа"). Венчавший батюшка что-то загрохотал недовольно. А Коля с Мариной прожили долгую жизнь вместе. Удивительно, как они подошли друг к другу...

Выход в свет

Как-то Коля притащил нас с Мариной в Дом Писателей на вечер заморского гостя, американского поэта Клода Маккея. Ажиотаж был страшный. Герой дня – Корней Иванович. Он распоряжался, представлял, переводил, носился по залу, гудел своим высоким голосом, он пел, он был счастлив. Темный цвет кожи гостя, экзотика, полузабытый смолоду английский, все это его взвинтило, а тут вдруг Коля невпопад притащил к нему нас с Мариной: "Папа, на одной из этих девочек я женюсь, угадай на которой". "Обеих убью", – бросил на ходу взъерошенный, ликующий Чуковский. Какой он был? Черноволосый, похожий на образцовскую куклу. Его словно придумал большой выдумщик, шаля, дурачась, и эту длинноногую, длиннорукую фигуру, нескладную и сутуловатую, и этот знаменитый "чуковский" нос, которым он наградил все свое потомство, и этот припухлый

большой рот, и умные его, смеющиеся глаза. Он был такой один, никто, никогда не был на него похож. За его обаянием, веселостью, восторженной доброжелательностью было, разумеется, всякое, и некий "второй план", быть может и третий, – с первого взгляда не увидишь эти "планы", не разгадаешь! Троцкий в своей книге "Моя жизнь" назвал его "талантливым малым". Ну уж все что угодно, но только не "малый", он был глыбой, его эрудиция была огромной, его книжки для малышей стали классикой. Кто ж этого не знает?! Его голос по радио узнавали мгновенно: "Чуковский". И бросали все дела, чтобы послушать!

В моей жизни он сыграл однажды особую роль, роль доброго сказочника. Впрочем, он не только помог мне, он трудился, хитрил, шел напролом, фантазировал, только бы выручить меня из беды. Я расскажу об этом, но не сейчас. Но однажды он меня обидел. Очень!

На Староневском...

Папа Риты и Лели Арнштам был женский доктор. Он кончал Уничерситет в Дерпте, теперешнем моем любимом Тарту, говорил на каком-то смешанном немецко-эстонско-русском волапюке, очки на розоватом, длинном носу, – чистый "Айболит". Нас он, по-моему, боялся, хоть однажды и сказал, что друзья его детей, ничего, не плохие, но вот стулья ломают. Совсем как Сквозник-Дмухановский. Рядом с

лелиной комнатой, где были два чудесных рояля, где Леля и Митя Шостакович играли в четыре руки первый фортепьянный концерт Бетховена, где было столько стихов, музыки, смеха, была загадочная комната с силуэтами страшных кресел. Оттуда веяло холодом, аптекой, запустением. Еще недавно доктор Арнштам принимал здесь пациенток, все здесь некогда белое, стальное, стеклянное, хранило их тайны. Теперь частная практика была запрещена и кабинет доживал свой никому не нужный век. Доктор Айболит был обескуражен, семья-то большая! Бедная арнштамовская мама ходила все время в одном и том же облаченьи, в своей зеленой, плюшевой портьере. Когда-то портьера эта украшала дом, теперь мощный бюст хозяйки дома. Я помню ее только в этом зеленом и пышном. Она сама и сшила этот туалет, милая, очень толстая Мэри Исаевна, умиравшая от любопытства, когда мы закрывались в одной из комнат. "Я знаю" – истерически вопила она, – "о чем вы говорите. Вы говорите про любовь!"... "Ужасно! Они говорят про любовь!"...

Леля кончал Тенишевское и Консерваторию. Учился он у Бариновой, ученицы Бузони, большой оригиналки. Станиславский и не подозревал, что у него есть такая азартная союзница в утверждении его театральной "системы", прежде всего закона об освобождении мышц.

Лелька показывал нам ее трюки, – руки должны висеть как полотенца, тогда свободен корпус. Он учил нас плюхаться руками на клавиатуру, раскрепощая тело. А потом только играть. Мы с Мариной старательно валились

на клавиши, заставляли наши руки болтаться как тряпки, но играть от этого лучше не стали. Должно быть, в искусстве кроме "освобождения мышц" и прочих открытий йогов, нужно еще кое-что...

Шестнадцатилетний Арнштам давал "клавирабенды" (это немецкое слово сейчас ушло из обихода), двадцать четыре этюда, двадцать четыре прелюда Шопена, ошеломляя невероятными темпами, "скоростью света" и мощной аккордной техникой. Он "шпарил", он не жил музыкой. Помню ноту в одном из прелюдов Шопена, кажется верхнее "фа", с которого как с горки, после минутного вздоха, катится с постепенно набранной скоростью пассаж. На концерте он так резко ткнул в это "фа", что сидевший рядом со мной Шостакович больно схватил меня за руку. Он вообще играл резко, напористо. Рояль он бросил как только попал в театр Мейерхольда, открывший для него дорогу в новую для него профессию. В кинорежиссуре, ставшей делом его жизни, немалую роль сыграло и добротное его музыкальное образование, и общение с гением театра. Лельке здорово повезло.

На день рождения я подарила ему репродукцию нашей эрмитажевской "Мадонны Литты": "Леле в день шестнадцатилетия со дня его основания". Пожалуй, это было в точку. Он воспринимал себя как явление.

"Арнштам, само имя пощечина
По лицу романтических дам,

Его речь парадоксом всклокочена,
Театрален всегда Арнштам..."

Это Симка Дрейден, наш испытанный остряк, так прошелся по его адресу. Накануне тридцать седьмого, когда было уже муторно и страшно, я встретила Лельку на улице, еще не "народного", но уже маститого и очень самодовольного. Он только что снял фильм "Подруги", разумеется, как надо, с пудами "нравственной высоты" и "моральной чистоты". В фильме – хорошие актеры, Янина Жеймо... Шостакович написал музыку. Они продолжали дружить. "Знаешь, – процедил он как всегда сквозь зубы, – галошницы с "Треугольника" заявили, что будут теперь в мою честь делать больше галош".

Митя "Чтожтакович"

Как-то Лелька Арнштам привел к себе на Староневский Шостаковича. В доме были два прекрасных рояля, и они вдвоем с Митей играли первый концерт Бетховена на этих двух роялях. Они играли много и разное, но я помню именно этот бетховенский концерт, и их за роялями, худенького Шостаковича и массивного, с крупными чертами лица Лельку. Митя сразу же врос в нашу компанию, назывался он у нас "Чтожтакович", и мы были неразлучны несколько лет, пока не пошли свадьбы и дети. И появились новые друзья, и новые компании.

На наших ассамблеях угловатый подросток "Чтожтакович" больше помалкивал и слушал. Лицо у него было туго перебинтовано, его мучили железки, те самые ленинградские припухлые железки, о которых вспомнит потом Мандельштам: "Я вернулся в свой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез..." Мите было трудно поворачивать шею. Он был похож на нахохлившегося сердитого воробышка.

В те годы был у него друг, до ужаса, до мистики на него похожий. Как будто кто-то так специально задумал, этот легкий шарж. В филармонию они всегда ходили вместе, оба слушали и читали музыку синхронно, уткнувшись острыми носами в партитуру. Они не то что слушали, казалось, они слышали ее вместе, каким-то особым единым слухом. Володя Курчавов плохо играл на рояле, он едва водил пальцами по клавишам, он не сочинял музыку, он не был талантлив. Но дар слышать, разве это не дар? Мите Володя был не то чтобы нужен, не то чтобы предан, он был его неотступной молчаливой тенью, его таинственным двойником. Без Шостаковича, без музыки, без филармонии Володи просто не было, не существовало. Он не выговаривал букву "л", и мы с Мариной Чуковской его изводили: "Вووодя, я тогда мовоже, я вучше кажется быва" ... И вдруг он заболел и умер, этот тихий, бесплотный "Вофициальнодя", словно это было так предначертано, словно он должен был раствориться в небытии, исчезнуть, как исчезает тень. Я думаю, у Шостаковича такого друга больше никогда не было.

Оба они боготворили Моцарта и Чайковского. Тогда это казалось странным, почему такое сочетание? Потом в сочинениях уже зрелого композитора это слилось, свет, ясность, родниковая чистота, и боль, повелительный гнев, мощь и ужас... Ему не было восемнадцати, когда он кончал консерваторию. В выпускную программу входила обязательная классическая соната. Оставалось две недели до экзамена, а он еще не знал, что будет играть. Наконец, он выбрал бетховенскую двадцать девятую, "Хаммерклавир". Он сам говорил, что соната немыслимо трудная, что там какие-то неодолимые нондецимы. Накануне экзамена я забежала к нему домой на Марата, девять. Он немного поиграл мне. Превосходный пианист, точный, суховатый, руки сильные. Своя манера. Но мне было не по себе. Это были только наброски. Когда он успеет? А на экзамене он играл властно, зрело, симфонично, охватывая грандиозность целого. Он уже тогда мыслил симфонично, мыслил глыбами.

Я хорошо помню этот экзамен, Малый зал консерватории, грузного, полнолицего, похожего на большого, толстого ребенка Глазунова, и тщедушного мышонка Леонида Николаева, маститого митиного профессора по классу фортепиано (композиции он учился у Штейнберга), а за роялем остроносенький профиль удивительного мальчика. Потом они вместе с Марусей, старшей его сестрой, играли сюиту для двух роялей, один из самых ранних его опусов, что-то еще по-мальчишески взъерошенное и колкое.

Мы жили с Шостаковичем на одной улице – Николаевской, теперь это улица Марата. Из филармонии обычно возвращались вместе. Мало кто помнит филармонию тех лет, чем она была для людей двадцатых годов, какой отдушиной, каким светом. Мне и сейчас, когда понастроили в советских столицах концертные дворцы, Дворец Съездов, Зал Чайковского, Октябрьский в Ленинграде, после того, как привелось мне видеть и многие концертные залы мира, кажется, что нет, не может быть ничего прекраснее этого бывшего Дворянского Собрания, его строгих сводов, его классических колонн, гармоничных и торжественных как музыка. Без копейки в кармане, одетые кто во что горазд, мы слушали всех знаменитостей мира, приезжавших тогда в Петроград, и демонического Отто Клемперера, и воздушного Абендротта с его невесомой, шаловливой штраусианой, и Штидри, и скрипачей, и пианистов. Попадать на эти концерты было нелегким делом, и мы стали заправскими зайцами, щеголяли друг перед другом виртуозной воровской техникой, гениальным выкрадыванием у капельдинеров из-под самого носа корешков оторванных уже билетов. По этим корешкам пускали в зал. Капельдинеры, парадные, важные, в серых ливреях, отлично знали, что все это афера, но нашей благородной экспроприации не мешали. Они были хорошие люди, эти стражи музыки, я им по сей день благодарна. Митя Шостакович очень мучился, когда наступала его очередь добывать эти проклятые корешки. Но это было неотвратимо, очередность

соблюдалась строго. Однажды случился ужасный конфуз. Нас все-таки разоблачили и не пустили в зал. Тогда мы пролезли на хоры, прямо в тяжелых ботах, валенках, галошах, во всем этом допотопном зимнем снаряжении тех лет. А потом мы все-таки прошмыгнули вниз, в зал, бросив всю эту зимнюю аммуницию наверху. Кончился концерт, публика мирно плыла к выходу, когда зал вдруг стали бомбить галошами и валенками, когда парашютом летели сверху чьи-то не слишком элегантные пальто, – надо же было нам одеться, и кто-то сердобольный швырял нам все это с хор. Публика, естественно, гудела, негодовала, возмущалась. Знали бы ценители музыки тогда, что это хулиганство было делом рук и Шостаковича...

Когда Эмиль Купер, бессменный дирижер филармонии тех лет, уезжал навсегда в Англию, в доме Арнштамов, в нашей штаб-квартире, под руководством пышной, затянутой в платье из той же зеленой бархатной портьеры арнштамовской мамы мы спекли огромных размеров крендель, кстати катастрофически неудавшийся, сырой и многопудовый, и послали его Куперу с запиской: "От зайцев Петрограда. В благодарность за все девять симфоний Бетховена, за Малера, за скрябинскую "Поэму экстаза". Хорошие были времена! Все уже было, кровь, террор, а мы были небожители. Пусть нам это простится. И мы пройдем свой круг, все уже было заготовлено. Просто мы этого не знали. И, должно быть, были вполне счастливы.

Однажды мы бежали с Шостаковичем домой с очередного концерта по нашей Марата. Мороз, злой ветер с Невы, а у нас одна перчатка на четыре руки, по очереди мы суем в нее задубевшие пальцы, несемся, хохочем. Мы еще не ведали, не гадали...

Шостакович вырос в интеллигентной семье. С традициями. Биографы композитора любили у нас говорить, что это "революционные традиции" – Митин отец, Дмитрий Болеславович, был сыном польского повстанца, участника исторического вооруженного восстания 1863-го года. Восстание, как известно из школьных учебников, было подавлено, и Польша не обрела тогда независимости. Но революционные традиции Шостаковичей были традиции затаенной ненависти к рабству, к произволу, традиции непокорности. У Шостаковича эта непокорность в музыке, в ее неспокойных терпких гармониях, в ее бунтующих, упрямых поворотах трубных голосов, криком кричащих от боли и гнева, в его нежных и скорбных мелодиях. Они были все независимы, Шостаковичи, с перцем, с характером. Про митину младшую сестру Зою в семье жила веселая легенда, что одной рукой она поднимает за ножку рояль, – такая она была сильная, рослая. И профессию она себе выбрала подстать, лечила слонов в зоопарке, как много лет спустя, явно гордясь, сообщил мне ее прославленный брат. Старшая Маруся, круглолицая, розовощекая, чем-то была похожа на Митю, такая же немногословная

и резкая, и не без ядовитинки. В день смерти Ленина я встретила ее недалеко от дома. Разговаривать было некогда и трудно, – мороз гнал домой. Я успела пробормотать что-то жалостное, как мол теперь будет. "Вы расстроены?" – бросила она на ходу. И вызывающе: "Я нисколько!"

Она тоже кончила петроградскую консерваторию и долгие годы преподавала там же обязательное фортепьяно. Они все жили музыкой, вся семья. Когда Дмитрий Болеславович умирал, он просил жену и детей быть в день его смерти как всегда в филармонии. И они были в филармонии. Я помню этот вечер, этот реквием, это прощание...

Во время блокады, где-то, на каком-то "пункте" случайно встретились моя мама и Софья Васильевна, мать Шостаковича. Они не были знакомы, а тут выяснили, кто есть кто. И тут Софья Васильевна стала вспоминать, как Митя однажды принес ей от меня подарок – кусок туалетного мыла. Уже шли тридцатые годы, а туалетное мыло все еще было чудом, буржуазным баловством. Мы с моим мужем, тоже Митей, вернувшись из Японии, где он работал в Полпредстве, решили устроить друзьям праздник, вывалили в кучу на полу сувениры, чтоб каждый мог выбрать себе что-нибудь по вкусу. Пришел и Митя Шостакович, долго и деловито разглядывал рубашки, пижамы, – этот вечный дефицит, – наткнулся на коробочку чая "Липтон", заколебался было, но тут он заметил драгоценный кусочек мыла с белолицей японочкой

на обертке. Как он обрадовался тогда этому осколку другой планеты...

В один из послевоенных дней мы встретились с ним случайно в театре. Не помню какой был спектакль, театр, помню, Вахтанговский. Встретились уже не те, каждый со своим грузом, с нелегким опытом пережитого. Оттопали фашистские сапоги, эхом грубой силы, всякой, не только фашистской, отдавалась ”седьмая”. Мы не виделись всю войну. Я была с общим нашим приятелем, тоже театральным критиком, отсидевшим за эту праздничную профессию добрый срок. Шостакович схватил меня за руку, бросив как всегда отрывисто, не допуская возражений: ”Я забираю у тебя Лиду”.

Мы спрятались в какие-то дальние ряды, — очень хотелось поговорить. ”Ну, как ты живешь, как?” Неожиданно ударным стало это ”как”. Мне кажется, он был искренне удивлен, что я еще существую, что пережила войну одна с ребенком, с этой зловещей отметиной — ”жена врага...” К патриотизму примащивалось в ту жестокую пору немало демагогии, исходившей от бывших друзей. Дамы, чьи мужья в военных мундирах отсиживались в прифронтовых редакциях и назывались ”фронтовиками”, обходили меня как чуму. Они смотрели на меня отчужденно и неодобрительно, а то просто и не замечали, мои бывшие подруги, так что мне приходилось несладко. Особенно, когда от них что-то зависело. А от них зависело. Он это понимал. Он всегда понимал такие вещи. Тогда я узнала, что его сестра Маруся, та, что отнюдь не сокрушалась,

когда умер Ленин, тоже потерявшая в тридцать седьмом мужа, была сослана. Их мальчик оставался у бабушки. А теперь она уже в Москве. Я только один раз видела ее мужа Вадима, но мне он запомнился, высокий, очень красивый. И почему-то видится мне сегодня его коричневый костюм. Мы встретились как-то в филармонии, она нас познакомила.

Публика только заполняла зал, и Митя успел подробно рассказать мне, как вытаскивал сестру из ссылки, как домогался генерального прокурора Руденко, как просил. Совершенно неожиданно, когда гасли огни в зале, он заговорщицки наклонился ко мне: "Ты читала "Мелкий бес"? Гениально, правда? Все бесы, бесы... Гоголь, Пушкин, Достоевский... И вот мелкие. Гениально!" Шел занавес, когда он шепнул мне на ухо: "Почему у нас всегда бесы?"

Так вот о чем он думал. Он думал вслух в полутьме театрального зала, уже терявшего свою голубизну, когда плавно гасли огни...

Здесь, в моем чикагском одиночестве, я снова перечитываю Достоевского, и снова этот эпиграф, этот пророческий голос Пушкина: "Хоть убей, следа не видно, сбились мы, что делать нам..." – звучит так, словно это о нас, о моей, сбитой с толку, ослепленной снежной метелью стране. Я читаю и перечитываю гениальный роман и мне страшно от точности прозрений Достоевского, поселившего в своих "Бесах" Кириллова, идейного самоубийцу, вывернувшего наизнанку философию воли, обезумевшего в своем революционном фанатизме, образ,

оживший в наши дни в реальной фигуре такого же бесноватого, только теперь возведшего в принцип не индивидуальное, а массовое самоуничтожение. Разве это не кирилловщина, эти радения секты Джима Джонса, внушившего тысячам людей идею смерти "во имя"? Но только ли прозрение здесь? Все это ведь уже было тогда... Если бы можно было продолжить этот разговор с Шостаковичем!...

Один из исследователей творчества Достоевского, Леонид Гроссман, писал, что "памфлет на революционное движение", обличительный пафос "Бесов" не удались романисту. Дескать, нет в романе ни 1-го Интернационала, ни социалистических союзов рабочих, ни массового хождения в народ. Теперь мы знаем, что революция была всего лишь авантюрой кучки, при чем тут все это, эти "Интернационалы" и кружки. Достоевский не только угадал, он увидел и понял в чьих руках будет русская революция, что несет она с собой, какой распад, какие беды. Петр Верховенский прежде всего учит доносить. И все доносят, боятся друг друга и убивают Шатова на всякий случай – вдруг донесет! Знакомая картина! Значит, все это было, было. Заманивают на окраину леса, набрасываются, сбивают с ног, и "аккуратно и твердо", "прямо в лоб", "в упор" спускают крючок. Точно как в наших застенках и лагерях, "аккуратно и твердо", во имя общего дела. А тогда он читал Сологуба и думал об этом же, о живучести передоновщины, о мелких, властолюбивых, грязных, правящих бал, бесах...

После Володи Курчавова наш ”Чтожтакович” задружил с Соллертинским. Это была совсем другая дружба. Соллертинский был по-своему тоже гениален, гениальный интеллектуал, знавший все на свете, музыку, поэзию, театр, балет, несметное количество языков. Он был уникум. Они были как Пат и Паташон, мальчишковатый Шостакович со своим ершистым чубиком, и мясистый, мешковатый, сутуловатый Иван Иванович. Он был уже профессором университета, и казался нам человеком другого поколения, а разница в годах была совсем незначительная. В нашей арнштамовской компании он появлялся всегда неожиданно, с шумом, новостями, расстилал на полу свою лохматую шинелишку и начинал читать запросто сонеты Петрарки по итальянски, или пропевать смешным фальцетом от косточки до косточки целую симфонию Малера, очень точно, каждую тему, каждый голос. Мы разевали рты, он был для нас Бог. А он был с нами, недоростками, мил, болтлив, как с равными, этот большой ученый и оригинал, он заливался смехом, с кем-то спорил, ругался, иногда не самым элегантным образом, шумел и внезапно исчезал.

Шли мы однажды по Невскому с Соллертинским и Ираклием Андрониковым. Это уже позже, где-то в начале тридцатых. Соллертинский устроил Ираклия, искавшего работу, выступать перед концертами в филармонии. Так сказать, ”объяснять” музыку. Ираклий с треском провалился на первом же сеансе, нес какую-то ахинею и глупо улыбался. Он сам об этом

рассказывал, хихикая. А Соллертинский со своими взвизгиваниями делал это превосходно, его почтительно слушали. Ираклий взял и осмеял нашего Ивана Ивановича, он выследил его черты и черточки и сделал из этого очередной свой номер, с шумным успехом проходивший в ленинградских салонах. Они шли по Невскому мимо Казанского собора и отчаянно ругались, мне было ужасно неловко между этих двух огней и, помню, как делала я какие-то неуклюжие попытки угомонить "мальчиков". Обиженный Соллертинский повизгивал своим высоким фальцетом, а тогда еще такой обаятельный, юный Ираклий, человек неповторимого Божьего дара, так безрассудно растраченного в этих самых салонах и в верном служении режиму, загадочно хмыкал. Он-то знал, что плоды его мгновенной наблюдательности бьют в цель и без промаха. "Это подло", – захлебывался Иван Иванович. А "подлость" была в том, что Андроников, так точно штриховавший свои портреты, как бы чуть смещал фокус, и все абсолютно достоверное, похожее, становилось смешным, подчеркивавшим своеобразинку характера, которую без этого андрониковского кристалла и не разглядишь. Закон карикатуры: похоже, но "подло".

Соллертинский был не дурак выпить. Мы этого чурались, в нашей компании признавался только клюквенный морс. Такие уж были пуристы...

Как-то мы поехали всей гурьбой на пляж, куда-то под Сестрорецк. Купанье в нашей

маркизовой луже, – ну, какое же это купанье, – полкилометра пройдешь и едва замочишь пятки. Две фигуры долго шагали по воде, грузнеющий, переваливающийся с бока на бок Соллертинский и наш худенький Митя, пока не стали далекими тенями. Но мы видели, как эти двое там далеко потягивают коньячок. Из одной бутылки. Говорили, что Соллертинский учит Шостаковича пить, может быть и так. Но Митя этому не выучился, – просто мальчишке хотелось быть взрослым. Коля Чуковский и скульптор Леня Месс (теперь его Ленин красуется где-то в центре Ленинграда), прохаживались со знанием дела насчет женских ножек, и Митя тоже разглядывал пляжных див, и тоже что-то на этот счет изрекал. Очень важно, тоже со знанием дела...

Имя Соллертинского упоминается теперь с почтением. Многие его статьи, работы, книги, написанные с темпераментом и блеском, свежи и сегодня. Увы, в его яркие, бьющие эрудицией статьи вкрадывался и вульгарный социологизм. Время было такое, "марксистское". То тут, то там встречаешь у него и "классовое искусство", и "пролетарское", и прочее пустозвонство тех дней. А он был чертовски умен. И как бы там ни было, он сделал свое "стасовское" дело, так безоглядно, так восхищенно приняв "почерк" Шостаковича, угадав в нем могучую личность.

В Новосибирске, в одной из своих сравнительно недавних комнадировок, собралась я поехать на могилу Соллертинского. Из этого ничего не вышло, машины, обещанной в ВТО, не оказалось, и холодно было очень. Рассказывали, что он

скверно ругался, глядя на Обь, куда загнала его война. Нетрудно догадаться, как он обыгрывал имя этой могучей сибирской реки, на дикие берега которой бросила его судьбина. Так и лежит он там, в далеком этом "Нью-Сибирске", как сразу же окрестили ленинградцы город на Оби, на дальних этих речных излучинах, обруганных им под горячую руку, не зная "партийных" кантат и ораторий своего друга. Не зная и многого другого, "космополитизма", например, от которого, – это можно сказать с уверенностью, – и ему бы не поздоровилось. Но он не дожил и до "Бабьего яра", до тринадцатой и пятнадцатой симфоний Шостаковича...

В последний раз я видела Шостаковича на "Катерине Измайловой" в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Это был возобновленный спектакль, он довольно долго не шел и публики было много, все забито. Это была как бы вторая премьера, администрация старалась во всю, чтоб было похоже на премьеру. И хоть пришли и всякие важные люди, и не только важные, но и просто друзья Шостаковича, друзья его музыки, в зале было как-то неприютно, нерадостно. Ставил Михайлов, очень способный человек, но все у него неровно: рядом со строгими, выразительными мизансценами вдруг такая дешевка! Густота, глубина, емкость и легковесность, "опереточность", как в одной из финальных сцен, где массовка, изображающая царскую полицию, грубую силу – чистое шоу с карикатурными подтанцовками. Все-таки это была

удача Левы Михайлова, человека изломанного, капризного, карьерного, но с Божьим режиссерским даром, – в его "Катерине Измайловой" было то горькое, что шло и от лесковской "Леди Макбет Мценского уезда", и от Шостаковича. Автор либретто своей оперы, Шостакович решал проблему преступления и наказания по-своему, – он не столько судил свою героиню, сколько жалел ее. Он был к ней милосерден. Трагическая безысходность, – вот ключ к этому милосердию Шостаковича. Он не осуждает и не оправдывает свою уездную леди Макбет; он видит в ней человека, на котором лежит проклятье времени, проклятье несвободы: "Весь мир – тюрьма" ...

Я оказалась с Шостаковичем в одном ряду и сразу же приметила его еще более заострившийся профиль. В антракте он никак не мог подняться, и маленькая, черненькая, видно с характером женщина, его третья жена, волокла его по проходу к фойе. "Волокла" – это грубо, но как скажешь? Он не смог бы без помощи протиснуться через ряды. Быть может он еще и еще раз пережил этот ужас, эти "грибочки", подсунутые его бедной Катей свекру, чтоб ценой этой смерти добыть кусочек, еще один кусочек радости. Отломить ее, отщипнуть от судьбы, как отламывают, отщипывают крошку хлеба...

С трудом двигаясь, едва стоящий на ногах, развинченный, ослабевший, он на какую-то секунду как бы задержался у моего кресла, но жена не позволила и подтолкнула его вперед,

видимо оберегая от лишних разговоров и встреч, и он только успел бросить в эту секунду, как всегда отрывисто и резко: "Здравствуй, Лида". Тяжело больной, издерганный, он не мог не видеть, не чувствовать, что его музыку понимают далеко не все, невольно встречался он взглядом с отчужденными глазами, поджатыми губами тех, кого, быть может, и раздражал строптивый его музыкальный язык. Теперь все больше и больше людей понимают и любят музыку Шостаковича, все реже встречаешься с этим рудиментарным "не понимаю"... Тут недавно пришлось мне быть на концерте молодого виолончелиста. Он исполнял две сонаты – Бетховена и Шостаковича. Бетховена слушали уважительно, с привычным пиететом перед великим. Шостакович вызвал взрыв, восторг, радость узнавания себя, своего буйного, непокорного, безумного мира. Стены крошечного, взятого напрокат на один вечер подвальчика, – это была скорее камера, чем концертный зал, – словно раздвинулись, дав простор ликующим эмоциям молодых и старых, всяких, солидных и хипповатых американцев.

Но тогда, быть может именно на том спектакле, он с особой остротой чувствовал свое одиночество, он, знаменитость, первый композитор страны, сановный, влиятельный, осыпанный теперь, к концу своей тревожной, полной стрессов жизни "высокими правительственными наградами", остававшийся при этом всегда самим собой, далеким от подлости и пошлости режима, даже тогда, когда он вступал в партию

или писал свои ленинские кантаты. Мне представляется его жизнь двойственной, горькой, полной опасностей, страхов, – сначала только за себя, – потом за своих детей, из которых "они" шутя могли сделать изгоев, отверженных, нищих. Или просто душевно сломанных людей...

Как и все русские интеллигенты, люди высокой духовной организации, Шостакович как-то болезненно относился к "еврейскому вопросу". Это осталось в нем навсегда от семейного воспитания, отчасти и от нашей "компании". В юности, когда мы "клубились" вместе, мы решительно не помнили кто есть кто, национальности не то чтобы не предавалось значения, об этом просто не думали. Должно быть, это особый предмет исследования, – почему это было так. Может, еще верили лозунгам о равенстве и братстве. А потом, когда антисемитизм принял такой откровенно вызывающий характер, когда он стал государственным, от этого очередного завоевания "октября" люди стали отворачиваться. Не все, конечно, но люди, многие. И Шостакович!

Есть такой пошлейший способ отводить от себя обвинения в антисемитизме, дескать, есть друзья-евреи! У Шостаковича было это "алиби", случилось так, что у него и правда было много друзей-евреев, приятелей, учеников. Он очень любил талантливого композитора Моисея Вайнберга. Вернется из очередной поездки, и первый звонок "Метеку", что, да как! Метеку, веселому, розовощекому, похожему на забавного гнома из детской книжки, было действительно

очень трудно пробивать толщу министерских кабинетов, и Шостакович за него дрался. И Веню Баснера он любил, но тому легче, тот автор запетой до дыр "Безымянной высоты", легче, но не легко, и Шостакович понимал условия этой неравной игры. Но дело ведь не в этих дружбах, хотя в какой-то степени и в них. Дело в отношении к политике дискриминации целого народа, я думаю, любого, которая была решительно неприемлема для него. Мне кажется, ему было от всего этого и противно, и стыдно, и когда он писал свои "еврейские песни" и "Бабий яр", он выговаривался до конца, он бунтовал и горевал.

Мне нравился спектакль "Катерина Измайлова". Я любила в Катерине прекрасную певицу и актрису (актриса в опере – редкость) Нину Авдошину, ее русскую отчаянность и тоску, она жила в музыке и музыкой Шостаковича, и вместе с ней я сочувствовала ее страшноватой и растоптанной, хищной и нежной русской леди Макбет. Но как только мальчишка мог написать такое, вот что непостижимо! И кто только придумал, что Шостакович не мелодист. Музыка пела, плыла у Катерины, вскипала, рассыпалась торопливым, тревожным речитативом, и снова вступала в свои берега, в мир льющихся, протяжных и бесконечных звуков. В окошке Катерины, в дремотном ночном мраке вдруг вспыхивал огонек, и наедине с молчащими иконами Катерина исповедывалась, выпевала свою темную, дикую любовь к милому, к "Сереженьке".

Сколько горя принесла эта "Леди Макбет Мценского уезда" Шостаковичу, сколько мук! Он был совсем юн, когда вдруг вышел с этой оперной партитурой и бросил ее как бомбу в тихую заводь партийных и прочих заведений. И дирижировал тогда спектаклем в "Малом Оперном" не кто-нибудь, а сам Самосуд, удивительная личность, дирижер-новатор, так много сделавший для развития оперного композиторского дара Шостаковича. Но "там" никто ничего не понял, кроме того, что "нам это не нужно", что это крамола, формализм, экспрессионизм, контрреволюция, какофония, сумбур. И тогда угодливый правдист Лежнев вылез с этой мерзкой статьей, разумеется не подписанной им "редакционной" статьей "Сумбур вместо музыки". Шостакович был по каким-то делам в Архангельске, когда увидел статью на стенде и этот "сумбур". Может, это и было началом страха, с которым он, такой независимый, такой дерзкий, подчас едкий и строптивый, жил всю свою жизнь, жизнь "на две темы"...

И вот, через столько лет, старость, болезнь, этот спектакль и это "публичное одиночество". Для меня же он мало изменился, запавший его рот с вьющимися уголками, и все его упрямое лицо, тронутое вечной пыткой двойственности, оставалось лицом все того же забинтованного мальчика Мити, сердитого воробышка, выпавшего из гнезда...

Мазурка Шопена

Каких только знаменитостей не слал нам мир в двадцатые годы в наш "Второй университет" – Филармонию. Мы, моя компания, были ужасные снобы. Обстоятельный, убедительный в каждой ноте, в каждом математическом выверенном форшлаге, прозванный нами "тевтоном" Эгон Петри, всемирная знаменитость, не был у нас в чести. Слов нет, он был действительно выдающимся пианистом, но его тяжеловесная академичность, его плотная, хорошо утрамбованная пианистическая техника, отработанная метрономность его ритмов, его и в самом деле "тевтонский" темперамент, все это принималось нами скептически. Потом приехал Артур Шнабель, "рвавший страсти в клочья", пузатый, пыхтящий, толстый, с трудом пристраивавшийся к роялю. И вдруг – совсем другое. Худенький, легкий, полетный молодой пианист из провинциального для нас Киева. Ученик маститого Блуменфельда, выучившего выдающихся русских пианистов. Имя – Владимир Горовиц. В его игре была какая-то магия, он завораживал. Его пальцы, чеховские "тонкие пальцы артиста" были воздушны, как прыжок Истоминой, как "пух из уст Эола". Никакой привычной натруженности, цепкости рабочих

пианистических рук. Казалось, играть ему ничего не стоило, ни малейших усилий, никакой "распевки" по утрам. Все будто дано Богом, свыше. Как ветерок прошелестит по залу брошенный им пассаж, улетит, прилетит, и, кажется, голова у него кружится, и будто он чуть пьянеет за роялем. Я забиралась в последний ряд нашего величественного филармонического зала, и тогда возникал особый эффект, "эффект очуждения", – фигура пианиста как в бинокле становилась далекой и нереальной, и уже не видишь ни блеска люстр, ни красного дворянского бархата, ни лысин впереди, а только слышишь, слышишь серебристые дальние звуки, позывные другого мира.

Прошло пятьдесят лет, целая эпоха. Немало должно быть слов сказано за это время о том, что такое искусство Горовица, многое в нем постигнуто, изучено, объяснено. Для меня же это осталось просто чудом, – разве чудеса объяснимы?! Я слышу и сейчас как он тогда играл, это осталось во мне. Помню его бемольную мазурку Шопена, эту каплю Польши с ее пленительной грацией, грустью, волшебством кружения. Произошел ужасный конфуз: Владимир Горовиц стал для нас, "четырнадцатилетних нигилисток" (это "мо" Корнея Ивановича, нам было уже много больше), чем-то вроде Собинова для "собинисток", только мы были "горовистки". Кругом посмеивались, дескать, очередные психопатки с очередным "душкой". Нет, мы не были психопатки, мы не визжали, не впадали в транс, – реакция была совсем

иной. Но выдавало нас другое, – мы завели себе зеленые кофты, почему зеленые, – не знаю. Где только они ни добывались, из чего только ни шились, из ситцев, из атласов, из долгополых бабушкиных юбок, из бархатных портьер, – неважно, важно, что они были зеленые, – знак принадлежности к ордену горовисток.

Обольщает всех девиц,
То Володя Горовиц,
Всем им нездоровится
От игры Горовица.

Это нас подкалывал все тот же придворный наш бард Симка. Нам воистину "нездоровилось". И вдруг – ужасный слух: "Володя" уезжает, уезжает Бог знает куда, в совершенно неведомую нам Америку. В Америку еще до революции сбегали русские мальчишки в поисках приключений и "свободы". Их обычно водворяли домой с первой же станции, ну а наш Горовиц, может мы его и не увидим больше. Хоть бы что-нибудь на память! И тогда возник адский план. Как возник, у кого, не помню, но помню, что в один прекрасный вечер мы, несколько зеленых кофт, ворвались во время концерта к нему за кулисы, – он только-только остывал от таинства игры, и тут мы хищно вцепились в хвост его тонкого фрака, пытаясь его оторвать. Хороша была сцена! С искаженным от злобы и отчаяния лицом наш знаменитый Горовиц азартно дрался с напавшими на него великовозрастными дылдами, он брезгливо

отбивался от "зеленых кофт" своими прекрасными руками артиста. Но этот бой выиграли мы, драгоценный лоскут был в наших руках. А потом мы его разрезали на узенькие полоски и на груди каждой кофты красовалась теперь черная ленточка... И долго еще после его отъезда щеголяли мы в наших зеленых жакетах, с бантом первой степени имени Горовица.

Еще в Москве, в один из тягучих вечеров, когда непонятно было, то ли отпустят нас по добру, по здорову, то ли сидеть нам в отказниках, биться головой об стенку от бессилия, продавать последнее, вдруг по Голосу Америки сказали, что сейчас будет играть Владимир Горовиц. Америка отмечала пятидесятилетие со дня первого выступления своей знаменитости, самого популярного и любимого пианиста на манхеттенской земле. И тут же что-то в моем транзисторе засвиристело, заклокотало, завизжало, и возникшие было из-за океана звуки рояля куда-то провалились, растаяли, а мой проклятый ВЭФ, – я готова была от досады разнести его на куски, швырнуть, разбить вдребезги, – забормотал что-то на непонятном языке, взывая, выкрикивая какие-то обрывки слов и звуков. Потом кто-то запел арию Герцога, и снова все провалилось в никуда. Глушили, черти, не дали слушать "изменника"... Так я и не услышала тогда ни одной ноты Горовица. В первые же дни в Чикаго я увидела разные его фотографии в журналах и газетах. Не всякий поймет, что это значило для зеленой кофты тех лет... Вот он на приеме в Белом доме,

названный гордостью страны. А вот пляшет на собственном дне рождения, выкидывает коленца. Разгулялся, видно, во всю. Да он тот же, Володя Горовиц, такой же... Совсем молодой...

Свадьбы

Компания стала рассыпаться. Пошли свадьбы. Тогда еще, в наши пуританские времена, трудно было себе представить такое, как "Дворцы бракосочетаний", лакированные "Волги", флердоранжи, заученные спичи толстых теток, штатных сотрудниц "Дворцов" с их удачами "в труде и личной жизни", словом всю эту пошлую пародию на таинство венчания.

В одну из сравнительно недавних моих командировок в Сибирь, в большом городе на Иртыше очутилась я как-то у памятника Ленину. Было зверски холодно, глубокий снег сиял как рождественская вата. Это сияние, этот снежный ореол не успели убрать с ленинской кепочки, с его растрафареченной в сотнях тысяч штук, черной, каменной, выброшенной вперед короткой ладошки. Давно уже примелькался нам этот непременный атрибут современного советского города, что областного центра, что уездного, районного, этот силуэт маленького человечка в распахнутом пальтишке, обозревающего дело рук своих, темное дело. Какой же это город — без площади Ленина, проспекта (заметьте, проспекта, а не улицы) Ленина, дворца

Ленина, завода Ленина, Ленина в кабинете первого секретаря Обкома, в прачечной, в сапожной мастерской, куда вы забежали починить каблук. Вот и стоит он тут, в полуголодной, вечно пахнущей каторгой Сибири, в сияющем снежном колпаке, со снежком в ладошке и куда-то зовет, должно быть, в наше прекрасное сегодня. Недалеко от памятника остановилось перевитое веселыми ленточками такси, "Волга", конечно; оттуда вылезло воздушное существо в белом, легких туфельках и засеменило к монументу. Потом из машины вытащился и жених, как положено в черном и при галстуке (не отстаем от гнилого Запада). Парочка благоговейно померзла на диком ветру, молитвенно поглядела и на смешной снежный колпак, и на сияющую, в сосульках, ленинскую бородку и ринулась назад к машине. Бедные ребята, хорошо если они не схватили тогда воспаления легких, кто знает. Но Ленин обещал любовь до гроба...

Первое семейство из нашей компании, Марина и Николай Чуковские, вили гнездо. Пока у них была только комнатенка где-то на Знаменской, недалеко от московского вокзала. Еда, посуда – на подоконнике. Корней Иванович был суров и педагогичен – карабкайтесь сами. Молодая чета была вполне довольна этой хипповатой жизнью, лето у них прошло в угаре светского Коктебеля, длинноногая Марина прошла у писателей, и даже сам Андрей Белый сочинил для нее стишок:

"И лихо бедрами крутя,
Она еще совсем дитя..."

Тут в Петроград приехала Ирина Мейерхольд, младшая из трех дочерей знаменитого режиссера, и в нашу компанию бурно ворвались гастроли мейерхольдовцев, европейски-элегантные (только что из-за границы) Эраст Гарин и Хеся Локшина, а за ними – московские сенсации, новшества, новости. Ирина была влюблена в прелестного человека, друга Мейерхольда (эта дружба была вывезена еще из Новороссийска), впоследствии известного ученого-театроведа Бориса Алперса. Борис Владимирович ничего этого не знал, да и знать не хотел. Но Ирина была настойчива. Все почему-то должны были знать, что она "любит" Алперса, и все сочувствовали. Ирина кочевала по знакомым и полузнакомым и добралась и до моей комнатушки на Разъезжей. И тогда ночами мы строили коварные планы обольщения Алперса. Ирина была высокая, худая, – в мать. От отца – черные глаза и смешное словечко "творцки". Никак у нее не получалось – творчески. В театр она проникла воровски. Мейерхольд не видел в ней актрису, и Ирина как-то зачислилась в труппу в его отсутствие, когда он был за границей. Мейерхольд смолчал, но вскоре ее отчислил. Зато сильна была Ирина в знаменитой мейерхольдовской биомеханике. Тут были и акробатика, и игра с невидимыми предметами, все, что служит мейерхольдовской идее пластического воспитания актера. Ирина лихо изображала мечущегося между несуществующими снарядами жонглера; я подобрала на рояле музыку, и у нас получился забавный аттракцион, имевший большой успех в на-

шем доживавшем последние деньки арнштамовом салоне.

Лелька Арнштам обнаружил недюжинное терпение, часами выслушивая иринины излияния, в конце концов он полюбил ее за муки, и Ирина без особого труда переключилась с Алперса на своего наперсника. Они поженились. Ирина, наконец, обрела пристанище, да еще с двумя роялями. Когда они ссорились, она отсылала его спать под один из этих роялей, где он, по собственным его уверениям, неплохо устраивался. Арнштамовская мама, толстая, изнывающая от любопытства, испуганная, польщенная, все в той же своей неизменной зеленой портьере, сбивалась с ног. Невестка была капризна, вставала поздно и завтракала в постели. Откуда-то добывалась ветчина, Ирина надкусывала и бросала драгоценные бутерброды, – я почему-то пронзительно помню эти вожделенные розовые огрызки, сохнущие на стуле перед кроватью. А Леля Мейерхольду понравился, очевидно "делали впечатление" двадцать четыре этюда, двадцать четыре прелюда и размашистый кураж молодого виртуоза. И Мейерхольд взял его к себе в театр кем-то вроде зав. муза. Может, нравились мастеру и арнштамовские парадоксы. Многозначительно цедя сквозь зубы в сущности всем давно известное, Лелька сумел сделать вид, что он "творцкая" личность, что он создан для театра Мейерхольда, а театр Мейерхольда для него.

Мейерхольд

Я не была знакома с Мейерхольдом. Я не могла бы сказать, подобно Юрию Анненкову, что мы встретились с ним в отеле... В Париже... Другое измерение, другой масштаб. Я была просто околотеатральной девченкой, обалдевшей от его спектаклей. Как-то мы с Мариной Чуковской застряли в тесной квартирке Алперсов, когда там ждали в гости Мейерхольда с Зинаидой Николаевной. Все пылало жаром пирогов (кажется, это были пироги с капустой), хозяевам было совершенно не до нас, прибегавших слушать сказки Метнера, – никто так не играл Метнера, как Сергей Алперс.

Мы притаились. Уж очень хотелось взглянуть на живого гения. Но когда раздался звонок, мы бросились с таким отчаянием вон из квартиры, что чуть не сбили с ног Мастера и его супругу, рассмеявшихся нам вслед. Вот и все мое личное знакомство с великим человеком. Но право же, пренебрежительное отношение к околотеатральной публике, не отдает ли это снобизмом?! Что был бы театр без одержимых зрителей, без истинных, верующих, верных театралов? 'Любите ли вы театр?" – эта фраза Белинского открывала собой исповедь человека из зрительного зала, для которого в театре живет мир с его особой "знаковой системой", с той его условностью, за которой люди и страсти. Я была верной мейерхольдовской публикой, вряд ли способной поднятся к высотам теории,

но уже угадывавшей в его театральном языке ту емкую телеграфность, ту спрессованность образов и человеческих поступков, которые становились поэтикой наших дней. Естественно, сегодня мне отчетливей, чем тогда, видится, что было его дорогой в искусстве, что стало перепутьем, распутицей. Именно сегодня яснее понимаешь, как трагично, парадоксально и жестоко сложилась судьба этой выдающейся личности, совсем было потерявшей себя и обретшей художническое и человеческое достоинство только перед заходом солнца, в канун ареста...

Мейерхольд пережил душевный кризис еще до революции, в молодости. Все эти его скитания по провинции, – Пенза, Херсон, Тифлис, – все эти метания, пробы, вечная неудовлетворенность, предчувствие нового, утверждение этого нового и крахи, один за другим, все это ломало его душу еще задолго до ”театрального октября”. Он не понят был Комиссаржевской, он был с позором изгнан из ее театра, когда казалось, вот-вот оно – великое творческое совпадение.

Провал всех его замыслов в ”Театре на Офицерской” ударил его в самое сердце. И вот – революция. В ее красных знаменах померещился ему союзник, возникла надежда на практическое осуществление своих видений и открытий, казалось, вот он, путь к естественному и свободному сценическому сочинительству. Про Мейерхольда никак не скажешь, что он поддался соблазнам ”красивых слов”, что он был

заворожен романтикой революции – он искренне верил в зарю новой жизни, в точную, неопровержимую запрограммированность этой "зари", которая принесет обновление и ему, лично ему, Мейерхольду, заглянувшему в театр будущего. Теперь он волен ставить спектакли так, как видится, как чудится ему.

До революции он ставил и драматические, и оперные спектакли. Еще в 1911-м году он встретился с будущим своим союзником, Головиным, в глюковском "Орфее" на Мариинской сцене. В театральном музее Ленинграда мне удалось раскопать два головинских эскиза, кружева изысканной мизансценировки оперного действия, наверно, это было необыкновенно красиво! Но это еще не "Маскарад"! В "Маскараде" с Мейерхольдом снова живописный, ажурный Головин. И Глазунов. Он вышел в ночь накануне февральской революции, этот помпезный и самый драматичный из всех когда-либо созданных Мейерхольдом спектаклей, чтоб стать зловещим символом конца старого и рождения нового мира.

После революции Мейерхольд резко повернул "налево кругом", взяв курс на "политический театр для рабочих и крестьян". Он вступил в партию, он был окрылен. Нет, это не было мимикрией, мировоззренческой мистификацией. Но очень скоро ему стали подрезать крылья. Выражение его революционности, его детище "Театральный октябрь" продержался всего год. "Зори" Верхарна с их прямой проэкцией на октябрьскую революцию, были встречены в

штыки и Крупской и Луначарским. Новшества этого зрелища, отказ от рампы, принципы спектакля-митинга, распахнутая навстречу новому зрителю сцена, неожиданные в театре кубы и призмы вместо привычных иллюзорных декораций, все это вызвало гнев "первой леди" Республики. Луначарский не принял "приближение к цирку и мюзик-холлу".

Интересно, что сказал бы сегодня прогрессивный комиссар народного просвещения про спектакль "История лошади" на Фонтанке в Большом Драматическом. Лев Толстой в форме мюзикла, а как сильно, как близко к толстовскому чувству полноты жизни, к естественной ее природной красоте. Топот мчащихся коней, их дикие пляски (актеры тренировались больше полугода до изнеможения, вторя лошадиным движениям), взрыв страсти у Холстомера к молодой кобылице Вязопурихе, все это кружится в хороводе перепадающей, эстрадно-цирковой ритмики, и эта модерновая экстравагантная форма не заслоняет толстовское, его боль за судьбу лошади, просто лошади, а не символа "униженных и оскорбленных", так пошло, так бессердечно растоптанной теми, кто не умеет любить и радоваться живому. Мог ли бы появиться этот фантасмагорический, "нахальный" спектакль Георгия Товстоногова и Марка Розовского, если до него не шел бы своей дорогой Всеволод Мейерхольд!

Я не могла бы описать от корки до корки каждый мейерхольдовский спектакль. Но будто вырванные из темноты магнием, живут в моей

памяти те или иные мизансцены; тысячу раз описанная, но для меня такая личностная, такая "моя" сцена на гигантских шагах в "Лесе"; святой, чистый диалог Ксюши и Пети, парящих над планшетом в качелях под простенькою, пусть мещанскую, похожую на "Маруся отравилась" песенку, ставшую потом, с легкой руки мейерхольдовского спектакля, популярными "кирпичиками". Кто-то подхватил мелодию, присочинил к ней текст про завод, который строился "по винтику, по кирпичику". А потом эту песенку втихаря распевали уже иначе, как "по винтику, по кирпичику, растащили кирпичный завод"...

Мейерхольд был исключительно музыкален, он слышал музыку сцены не только в переносном, образном смысле слова. В понимании интонационных, тембровых, ритмических возможностей разных инструментов он мог сравниться разве только с Брехтом. И, может быть, не случайно у него не было своего Курта Вайля, он омузыкаливал свои спектакли сам. Ему нравилось (об этом он говорил в одном из своих выступлений) визгливые трубы и трескучие барабаны японского театра, вопли и, быть может, не всегда доступные нашему уху, изысканные рулады певцов-комментаторов по краям сцены, накачивающие, накаляющие действие. Музыка была для него действующим лицом спектакля. И вот появился у него в "Лесе" откуда-то выкопанный им Макаров, обыкновенный русский парнишка с гармонью. Сидел скромненько в левой кулисе, и наигрывал, совсем как в деревне эти "кирпичики".

Для Мейерхольда вряд ли существовало понятие эклектики. Никаких окаменевших догм, все можно в искусстве, если это искусство. Казалось, он соединял несоединимое. Имение помещицы Гурмыжской? Достаточно куска картона, на котором нацарапаны эти слова, никакого имения, ни строенного, ни рисованного, ни изображения природы, деревьев, кустиков и прочей театральной бутафории. Пустое пространство, и только отдельные знаки, сценография, как говорят сегодня. А вот гигантские шаги были настоящие, и на них по настоящему кружились актеры, и гармонь тоже, обыкновенная, деревенская гармонь. Зачем понадобилась Мейерхольду эта гармонь, и зачем Макаров?! Наверно, для ситцевого деревенского ксюшиного платья, для "ситцевого" ее милого лица, для лиризма, для того, чтобы любовь Ксюши и Петра была простой и наивной, как проста и наивна гармошка. Он был присущ, Мейерхольду, лиризм, хоть он от него всячески открещивался. В своих режиссерских комментариях он утверждал, что Ксюша – "действующее лицо, которое умеет бороться". Ох уж эта борьба, этот хрестоматийный "героизм", этот луч света в темном царстве! Но хотел того Мейерхольд, или не хотел, в его "Лесе" были "пуды любви". Спектакль обволакивал этой поэзией влюбленности молодых, заставившей двух нищих актеров-бродяг отдать последнее.

Но вопреки самому себе, он все же утверждал, что "Островский высмеивал Несчастливцева и Счастливцева". А может ему просто

отказывало чутье, ему, гению? Да, в них есть и смешное, в этих жалких комедиантах, в этих извечных донкихотах на русский лад, таких беззащитных перед лесом жизни! Но рядом с этим смешным, с этой незащищенностью и нелепостью, разве не живет в них и великое?! И быть может, две этих несуразных фигуры, как бы провозвестники будущей чаплиниады, – самое романтическое, и самое общечеловеческое, что вышло из-под пера такого сугубо национального художника, каким был Александр Николаевич Островский. ”Господа пешком пойдут” – эта фраза Счастливцева, брошенная им под занавес, когда только что сверкнула, было, возможность пожить, катнуть по-барски в коляске, запряженной лихими конями, но все уже до копейки отдано, и снова надо ”считать пешком версты”, эта фраза стала для меня моей маленькой библией, вечным и высшим выражением мудрости и поэзии жизни. Мейерхольдовский ”Лес”, такой экстравагантный, такой вызывающий в своих сценических формах, запомнился мне не только этой новизной и свежестью театрального языка, а образом того человеческого бескорыстия, в котором живет естественный, простой и гордый дух свободы...

Но в искусстве есть загадки, есть некое ”вопреки”, и мне кажется теперь, что мейерхольдовское ”вопреки” было в том, как ярко, одухотворенно, как неожиданно и терпко звучал спектакль, и как мелко трактовал на словах его замысел сам его создатель.

Мейерхольдовские комментарии к ”Лесу” сегодня читать невмоготу. ”В прежних постановках Гурмыжскую трактовали неверно”, – записывает он, – ”... в ней не видели эксплуататорской природы... Мы показываем Гурмыжскую так, что в ней усиливаются все краски того класса, который мы хотим обличить. В Восьмибратове мы раскрыли черты кулачества, с которым мы боремся...”

Кажется невероятным, что эти унылые марксистские сентенции, эта горесоциология принадлежат художнику, чье кредо было – дерзостная, вызывающая театральность, не знающая канонов, наповал бьющая открытием нового, ослепляющая фейерверком цветовых и пластических сочетаний.

Еще о музыке. В спектаклях Мейерхольда никогда не было просто фоновой музыки, музыки ”для настроения”, иллюстрирующей, изображающей чувства. В ”Последнем решительном” Всеволода Вишневского сцена гибели бойцов шла под фокстрот и фривольные песенки Мориса Шевалье. Прием, собственно, не новый, еще Горький подсказал в ремарке этот контрапунктический ход: когда в ”Мещанах” травится Татьяна, во дворе совершенно невпопад заводит свой скрипуче-веселенький мотивчик шарманка. Для Мейерхольда этот прием контрастности, это угадывание музыкального подтекста действия было непреложным. Исключением был разве только ”Учитель Бубус”. Но на это была своя особая, личная причина, – это было для Ирины. Лелька Арнштам, ее муж, в ураганном

темпе шпарил двадцать четыре этюда Шопена, листовскую "Сонату Данте" и еще что-то виртуозное и эффектное.

"Бубус" был сделан на музыкальном подборе, этих лелькиных консерваторских этюдах и сонатах, как бы взятых в этом случае напрокат. Но и тут Мейерхольд проявил недюжиную выдумку. Над сценической площадкой воздвигли нечто вроде раковины-эстрады, взгромоздили на это сооружение роскошный Бехштейн, и Арнштам завел свою генеральную школьную программу. Этот спектакль "под рояль", эта сценическая "мелодекламация", подхваченная в свое время множеством театров, в частности, Охлопковым, поставившим фадеевскую "Молодую гвардию" под 1-й концерт Рахманинова, для Мейерхольда остался одиноким опытом. Арнштам, ставший впоследствии известным кинорежиссером, народным артистом Республики, очень скоро разошелся и с театром, и с Ириной, точнее, – театр и Ирина с Арнштамом.

Ирина была капризна, не знала чего хочет. Арнштам ей скоро наскучил. Мейерхольд не мог понять в чем дело. К судьбе Ирины он все-таки был не вполне равнодушен. "Ты любишь кого-нибудь другого?" "Да", – сказала она, – она сама мне это, бравируя, рассказывала, – назвала штук тридцать имен. Мейерхольд отправил ее в какой-то специализированный санаторий лечить нервы. Она немедленно завела роман с каким-то художником, очень скоро поняла, что из романа этого ровно ничего не выходит, и затосковала. Частенько она оставалась у меня

ночевать на Разъезжей, угол улицы Достоевского, мы "концепцировали" с ней ночами и, в конце концов, постановили вернуть Лельку. Это было ужасно. От лирики не осталось и следа, ни от "мук", ни от милых ссор, когда Ирина отсылала его спать под рояль, где он, по собственным признаниям, довольно уютно устраивался. Теперь он смотрел на нее невидящими и пустыми глазами, как Зигфрид на Брунгильду после встречи с Кримгильдой. Лелька женился. И тогда мне, в сущности, повезло: я стала для Ирины на какое-то время необходимостью, и она стала таскать меня всюду за собой...

Восстанавливался "Маскарад". Я выросла на "Маскараде". Не сосчитать, сколько раз смотрели мы с моим братом Сережей это творение трех замечательных художников. И каждый раз, на каждом очередном спектакле, заново рождалась его тревожная, напряженная атмосфера, все двигалось на сцене будто во сне — "маски, игра в карты, записки, интриги". Это слова самого постановщика, и действительно, сон, жутковатый, загадочный и красивый. Завораживающий глазуновский вальс, весь в недобрых предчувствиях романс Нины, "каратыгинские" переливы голоса Арбенина-Юрьева, воздушные, во все зеркало сцены кружева, пенящиеся морской пеной в начале спектакля, и черные, смертоносные в конце. О чем был спектакль? Сам Мейерхольд говорил исполнителям: "Они (герои) — то зажатое в темпераменте человечество, которое должно где-то выплеснуть

свой темперамент, потому что нельзя всегда на цыпочках ходить". Тогда он думал о свободе, он яростно ненавидел тех, "кто стиснул этот мир в тисках и напялил на него оковы".

Во втором варианте, в тридцатые годы, он уже не мог не чувствовать, что сам "ходит на цыпочках". Может быть, поэтому так по-особому дорог был ему теперь образ Арбенина, прикованного к своей скале, героя, с "душой огненной как лава", но бессильного перед "пестреющей и жужжащей толпой". Спектакль об убийствах, ядах, наветах, о фарисействе, подлогах, лжи, – на фоне прекрасного русского ампира, тончайшего фарфора, подлинных павловских кресел, сверкающего света, сверкающей музыки, все это строилось Мейерхольдом по законам светотени, – красота соседствовала с темными страстями, жизнь боролась со смертью, побеждая, терпя поражение, вибрируя. Это был Лермонтов со своей темой демонического и простого человеческого одиночества, духовного мятежа и жесткой мстительности, непонятый, гордый, отчаявшийся Лермонтов, напрасно ищущий тепла и добра, Лермонтов, растоптанный, узнавший цену предательства, но все еще жаждущий верить, Лермонтов, превративший своего разъедаемого верой и безверием, мрачной тоской и надеждой, героя в отравителя, убийцу, преступника.

Мы с Сережей дежурили у знакомых реплик, мы хищно подстерегали их, счастливые каждой новой их краской, малейшим оттенком у Юрьева, найденным сегодня, на этом спектакле,

в этом слове, в эту минуту. "Ты заметил, сегодня он сказал "Я – игрок" совсем иначе". Уже немолодой грузный человек, затянутый в парадный фрак и колючий крахмал манишки, заставлял забывать, что Арбенин, хоть и "стар душою", но что по Лермонтову ему не больше тридцати, когда задумчиво бредя по залам энгельгардтовского, словно захлебнувшегося в карнавальном безумстве дома, он останавливался у самого края рампы и начинал: "Напрасно я ищу повсюду развлеченья..."

Мейерхольд называл свой "второй вариант" не реставрацией, а *ревизией*, он пересматривал, он снова думал, снова мучился. Однажды на репетиции мы были в театре одни – мать Ирины, Ольга Михайловна Мунт, и двое ребятишек, дети покойной Маруси, старшей дочери Мейерхольда, – ну и мы с Ириной. Холодный пустой театральный зал-колодец с темнеющими в высоте немыми ярусами, торжественная краснобелая Александринка, – так и прижилось в революцию это имя, никакой не "академический", пусто, гулко, отчужденно. Мы примостились в двух ложах бенуара, прямо против сцены, далековато, чтоб не мозолить глаза Мейерхольду. Репетировался бал. Он стоял в партере у самого края сцены, коренастый, уже немолодой, с седеющей копной волос, нетерпеливый, напряженный. Рядом с ним красивая Райх в длинном черном костюме, как тогда говорили, "труа-каре".

Пышный, помпезный Мейерхольдовский "Маскарад" во время репетиции, без поставленного

света, без костюмов, париков и грима был похож на облетевший сад, колючий и угрюмый. Гостей у Энгельгардтов изображали студенты Института сценического искусства (так тогда назывался Институт Театра, Музыки и Кинематографии в Ленинграде). Помню, что это был третий курс, не слишком-то опытные и маститые актеры. Мейерхольд был зол, сцена не ладилась. "Высший свет" выглядел жалким и унылым, – ни огня, ни азарта в танцах, ни упоения весельем, – все тащилось, а не двигалось, все было до зевоты скучным и убогим. Трудно было себе представить, что это серое, тусклое, такое беспомощное, такое неумелое зрелище имеет хоть какое-нибудь отношение к блистательному "Маскараду". Мейерхольд был очень зол. Вместо таинственных, интригующих, кружащихся в пестром праздничном хороводе масок, – неказистые парни в какой-то потертой одежонке, малорослые студенты-недокормыши полуголодного тридцать третьего года, непрофессиональные и немощные, тщетно пытающиеся изобразить толпу, которая "пестреет и жужжит" перед Арбениным, оскорбляя его душу коварной, злой, обманной карнавальностью. Куда делся ослепительный, ослепляющий "Маскарад"? Неожиданным ловким рывком Мейерхольд вскочил на сцену. Теперь он нетерпеливо и сердито гнал весь этот "высший свет" за кулисы. Что уж там успел внушить он этим своим комсомолистым нескладным артистам, как репетировал, что показывал, не знаю, только пустовавшая какое-то время сцена вдруг взорвалась и вспыхнула,

будто ее вырвали из сонной одури бомбой. Впереди ворвавшейся на площадку танцующей, подтанцовывающей, бесноватой массы летел сам Мейерхольд, летел бурей, ветром, неистовой стихией, немолодой коренастый человек с седоватой гривой, а за ним, как в погоне отчаянно неслись бедные студенты, и впрямь вообразившие себя наконец-то "светом".

Режиссерский показ, как правило, в современном театре запрещен. Правда, есть актеры, которые любят, когда им показывают и учат с голоса, но у режиссеров-профессионалов это считается дурным тоном. Способ будить актерское воображение, вытаскивать актерский темперамент, это делается каждый раз заново, чтоб актер не копировал, а создавал свое, непохожее на то, что делает другой, чтоб поиски характера были для него *процессом,* а не срисовываньем с готовых образцов. Загадочная штука – творчество! Иногда, уходя от этих сложившихся законов, наступая на горло собственной песне, показывали, и блестяще показывали и Станиславский и Немирович-Данченко. Особенно любили мхатовцы эти актерские показы Немировича, а ведь он собственно и актером-то никогда не был. И вот – Мейерхольд!

Теперь вышел вперед Юрьев, большой, импозонтный, с импозантным брюшком, стиснутым корсетом, маститый Юрьев, первый актер "императорского" Александринского, балованный русский барин, демонстративно носивший при советской власти роскошный бриллиантовый перстень, преподнесенный ему от имени Николая

Второго в ту самую ночь, когда "Маскарад" открывал собой новую эру в истории. Как-то очутилась я с ним в одном купе в "Стреле", он тогда и похвалился предо мной своим "лунным камнем", откровенно, с блеском в глазах, гордясь императорским подарком... Это после "Народного СССР", после многолетнего служения *советскому* театру.

Я никогда не воспринимала его Арбенина только как романтического героя. Борис Михайлович Эйхенбаум, – Лермонтов был его страстью, – сближал пьесу юного русского поэта с французской мелодрамой. Мне же виделась в ней двойственность мира, в котором мы живем сегодня. Презирающий "пестреющую" перед ним толпу Арбенин, – сам неотъемлемая ее часть, ее незащищенная жертва и ее неотвратимый палач. Эта двойственность героя, неприемлющего и одновременно творящего "век нынешний", делает драму Лермонтова и драмой наших разъедаемых фальшью, повзрослевших, но увы, не поумневших дней. И вот вышел Юрьев. Непостижима способность актеров, самых великих, самых прославленных, чуть ли не терять сознание, трепетать, умирать от страха, как только нога их ступает на сценическую площадку. Пусть это только мгновенья, минуты, потом приходит свобода и окрыленность, но эти первые минуты, это страшные минуты. Он волновался. Медленно, какой-то своей особой барской и элегантной, несмотря на грузность, походкой, приближался он к старинному дворцовому креслу, стоявшему в самом центре

сцены. И начал. "Что вы делаете, Юрий Михайлович? – оборвал его вдруг резко Мейерхольд, – Почему здесь? Ведь у камина!" "Но всегда было так, Всеволод Эмильевич!" "Нет, нет, только у камина, я сейчас понял..." Что-то, видимо, примерещилось режиссеру в новой мизансцене, что-то приманило. А может, он и верил, что так оно и было, забыл. И Юрьев со своим бриллиантовым перстнем покорно поплелся к камину...

В перерыве Зинаида Николаевна Райх с огромной коробкой конфет на вытянутых руках двинулась по проходу прямо к нашей ложе. Она подошла вплотную к красному бархатному барьеру и молча положила на него дорогую бонбоньерку. Момент неловкости. Все молчат, и я только помню ее спокойные зеленоватые глаза и ниспадающий до полу тяжелый шелк ее модного труакара. Красивая, цветущая, необыкновенно привлекательная женщина, первая актриса Мейерхольда, его большая любовь, она теперь стояла перед ложей, в которой будто застыли его бывшая жена и внуки и все так же спокойно ждала. "Возьмите же, дети", – выдохнула, наконец, из себя Ольга Михайловна, высокая, худая, высохшая старуха с седеньким узелком на затылке. Дети боязливо потянулись к конфетам, нам с Ириной тоже что-то досталось, что-то очень дорогое, какие-то шары в шоколаде.

Ирина говорила, что ее отец не был бабником. До встречи с Райх, он, беспокойный, всегда в разладе с миром, ищущий в нем что-то свое,

в семье был постоянен, любил дочек, и, казалось, так будет всегда. Конечно, всякое могло обернуться, всякое могло быть, и должно быть и было, но была семья. В девятнадцатом году они застряли в Новороссийске, жилось трудно. В телеге с тяжелой бочкой воду тащила непослушная кляча, ею командовала девочка-подросток, дочь Мейерхольда Таня – городу не хватало пресной воды. А потом Таня отсидела свои дни и ночи в лагерях, а Маруся умерла от туберкулеза, оставив Ирине и бабке двух ребят, тех самых, что теперь жевали шоколад. И вот Мейерхольд влюбился в свою ученицу, в его жизнь победно вошла Зинаида Райх, жена Сергея Есенина, мать двоих его детей. Она была счастливица, – ее любили выдающиеся люди, "шальной поэт" и "умный муж". Кто ее знает, какой она была, чем жила, каким богам служила. Это для исследователей. А для Мейерхольда она была всем, он называл ее "золотой как природа, творящая чудеса"... Была ли она хорошей актрисой? Думаю, вряд ли. Но Мейерхольд умел ее "делать".

После репетиции Ирина потащила меня к себе, она жила теперь с матерью и марусиными ребятами. В доме была нищета, впрочем, в доме – слишком громко сказано. Помню небольшую комнатенку, ощипанный диван, полуживые стулья. К счастью, иринина жизнь вскоре изменилась. Судьба свела ее с Васей Меркурьевым, чудесным, добрым актером, жизнелюбом, пьянчугой, Фальстафом. Семья образовалась на всю жизнь. "Надо ж заработать сколько, – вздыхал

Вася, – детишкам на молочишко и себе... на водочку." Во время войны вместе с Александринкой он был вывезен вместе с семьей в Новосибирск. Они там играли в помещении театра "Красный факел", а "Факел" сунули куда-то, в Прокопьевск, к кузбасским угольщикам. Семья была немалая: трое собственных детей, двое марусиных и двое васиного брата, того, что накануне войны неожиданно вдруг вернулся из лагеря, чтобы на другой день умереть. Что было делать с этим колхозом, как кормиться?! Ведь семеро козлят! Ирина с Василием Васильевичем решили мудро, они бросили огни большого города (ох, до чего же это холодный, злой город, этот Новосибирск!) и двинули на север, в туруханский край, тот самый туруханский край, купили корову и всю войну поили свою меркурьевско-мейерхольдовскую банду парным молочком.

Уже кончилась война, когда в Москве мне вдруг позвонила Ирина. Они уже водворились в свой Ленинград, приехали по делам на пару деньков в столицу и вот, как бы повидаться? Мы с моей маленькой дочкой поняли, что они уже поднимаются по лестнице, когда под нашим окном (мы жили на первом этаже) услышали шум и гомон, будто демонстрация или митинг там... В самом деле, чуть ли не со всего района сюда сбежалась детвора, успевшая заприметить Меркурьева, когда он только вылезал из трамвая. Эта шпанистая демонстрация волновалась и нестройно орала: "Ну а девушки, а девушки потом". Меркурьев тогда только

что снялся в фильме "Небесный тихоход", и каждый теперь знал веселую ухмылку васиного летчика и этот шлягер, этих "девушек", которые "потом", после самолетов...

Потому, потому что мы пилоты
Небо наш, небо наш родимый дом.
Первым делом, первым делом самолеты,
Ну а девушки, а девушки потом.

Вася играл характерных героев, но все-таки ведь героев!

Пока Меркурьев с Ириной в какой-то большой нелепой шляпе (вздумалось же ей) втискивались в наш семиметровый закуток, ребята под окном проявляли все больший энтузиазм, это была целая манифестация в честь толстого, обаятельного актера, и Вася растрогался, хоть давно привык к славе. "Вот тебе сто рублей, – он сунул деньги моей Татке, – чтоб всем было мороженое". Уже было первое послевоенное мороженое, и сто рублей, что ж, это были для такого дела деньги немалые. И вскоре под окном стихло...

Меркурьев был страшно горд своей причастностью к семье Мейерхольда. Оно было рыцарским, его отношение к имени ирининого отца, он всегда произносил это имя с трепетом, он, такой бытовой, такой натуральный, такой, в общем, советский актер. Оно было рыцарским, его отношение к этому имени в самые страшные времена, когда просто упоминать его было опасно. "Правда, Петька похож на деда?" –

вечно пытал нас Вася, все искал он в своем младшем отпрыске мейерхольдовское. Петю я помню малышом, потом он как-то уже взрослым заходил к нам в Москве. Он теперь кончил консерваторию, дирижер. Чем-то, правда, похож на деда, глазами...

А Райх убили, все те же кегебисты, должно быть, кто же еще, хоть и ходят всякие разговоры, что она сама была причастна к этой преисподней. Дело это темное... Мне хочется говорить о другом.

На спектаклях Мейерхольда всегда было полно, у него была своя публика. Приходили энтузиасты, но и такие, для которых он был только формалистом, чудилой, а то еще "эстетом с вывертом". Еще задолго до революции рафинированный большевик Луначарский язвил насчет "декадентских пилюль", которыми Мейерхольд, этот "узкий ум", перекармливает публику. Интеллигентный Анатолий Васильевич пощипывал его и после революции, уже в чинах, иногда снисходительно журил, иногда проявлял и руководящую, начальственную жесткость. "Направляя стрелы в своих оппонентов, нарком ранил и меня, назвав "Театральный Октябрь" *малюсеньким*", – писал Мейерхольд еще в 20-м году. Самое нелепое, что некоторые сегодняшние советские театроведы тоже считают, что от Мейерхольда "пошла кривая русского театра". И это не тупые ортодоксы, а, казалось бы, серьезные люди. Так понимают они реализм, театральную правду. И это когда Мейерхольд всемирно признан, когда в

спектаклях знаменитых и самых неприметных маленьких театриков, где-нибудь в городе Серове около Ледовитого океана, везде, во всем мире, не только на русской сцене, узнаешь режиссерский почерк Мейерхольда, следовавшего пушкинскому принципу "условного неправдоподобия".

К середине тридцатых годов стали бить по формализму наотмашь, в кровь, с оголтелой "большевистской прямотой". Мейерхольду было труднее, чем многим другим, революция была для него обновлением и надеждой, и вот надежды не сбывались, уже нечем было дышать. Ему было треднее и потому, что он был связан партийной дисциплиной, престижем режиссера-коммуниста, он не мог, не имел права отмалчиваться, уйти в сторону, его призывали к ответу. Вот когда началась пытка, испытание его душевных и творческих сил, испытания, которых он не выдержал. Он испугался, запутался, сломался. И пошел нечистым путем, когда стал обрушиваться на своих последователей и учеников, якобы искажающих истинное, мейерхольдовское во имя некоей вредоносной "мейерхольдовщины". Он сам и придумал эту "мейерхольдовщину", защищая свое имя. Его занесло, он стал попирать и великие имена, нападать, прибегая к более чем сомнительным приемам. Вокруг него было немало увлеченных им друзей, видевших в нем поводыря, людей талантливых, режиссеров, актеров, литераторов, настоящих "мейерхольдовцев", а ему мерещился, во всяком случае так он это трактовал,

размен его принципов на мелкую монету. Было, конечно, и такое. По всей стране размножились, распочковались маленькие "мейерхольдики", не только лишенные мейерхольдовского дара и масштаба, но и вовсе бесталанные, точно так же, как в свое время маленькие "станиславские", искажавшие идеи великого реформатора сцены. Система Станиславского была для них чем-то вроде реестра, или письмовника, пригодного на все случаи жизни для определенной категории малограмотных, и вот родился стереотип, штамп Станиславского, тот самый штамп, против которого и была направлена система. Теперь рождался штамп Мейерхольда. Есть в этом "испорченном телефоне", должно быть, и своя закономерность. Но Мейерхольд громил не жалких эпигончиков, а людей творческих, даровитых. Он был вправе отмежевываться от "мейерхольдовщины", когда сталкивался с механическим, неодушевленным мыслью, копированием своих выразительных средств и придумок. А этих придумок, этих новых приемов была тьма, и они были притягательны для всех, кто чувствовал время.

В Малом театре с его верностью натуре было скучно, это был вчерашний день. Да и МХАТ не далеко ушел от этой "натуральности", и не только во внешнем, – в колышущихся занавесках и цветущих так правдоподобно вишнях, но и в правдоподобии психологизма. Мейерхольд не закапывался в эти дебри своих лицедеев, он искал сценические формулы внутренней жизни актера, ее кодовый, условный язык.

Он обнажал приемы, он срывал с театра маску похожести, чтоб будить воображение зрителя, находить в нем сотворца. Все на сцене годилось, все, что рождало ассоциации, – героическое, цирковое, эстрадное, балаганное: живые голуби в голубятне, фотографии, кинокадры, Ильинский, так всамделишно ловивший невсамделишную рыбку в невсамделишной речке. Не надо так это понимать, что он вообще отказывался от "правдоподобия чувствований", от правды характеров, – именно к этому и были устремлены в конечном счете его спектакли, к живой жизни, но шел он к выражению ее своим путем, путем неправдоподобия, условности гипербол.

Он менял технологию сцены. Вместо холодного белого света рампы появились софиты и юпитеры, создающие подвижную, изменчивую, экспрессивную партитуру света. Этот свет нужен был ему не для красивеньких лунных дорожек на рисованных задниках, свет тоже был условным, контрапунктическим, не изображающим, а выражающим. Стреляющие прямо в лицо актера лучики, выхватывающие черты героя из темноты, "пистолеты", были придуманы Мейерхольдом еще в 1907-м году, когда он работал у Комиссаржевской. Рождался новый язык театра, открытый заговор со зрителем. А выезжающие на пустую сцену "фурки", эти маленькие двигающиеся выгородки-тачки со срезанным кусочком декораций, – как интересно было гадать, что это "едет", что будет, разве это не часть театрального действия, театральной

магии, театральной ворожбы. А выходы актеров из зала как в "Кабуки", когда будто вместе с актерами играешь спектакль, а отмена гримов, а потом вдруг яростная нарочитость гримов и париков, совсем как в цирке. Зеленый парик Буланова, от которого Мейерхольд потом так испуганно открещивался ("... за каким чертом зеленый парик?"), разве не могло это быть от Шагала, от цветовой образности новой живописи, от наступавших на все виды искусства новых художественных идей и форм?! А его громили. И он громил.

В злом "Ревизоре", быть может, лучшем, самом глубоком из его "советских" спектаклей, на чердаке у Хлестакова появилась молчаливая фигура офицера, должно быть, того самого, которому Иван Александрович "немного проигрался". И нашлись умники, которые подняли шум: "Мистика, мистический двойник Хлестакова". "Это не двойник, – говорил Мейерхольд, – это вполне реальная фигура", но отдельные блюстители театрального порядка стояли на своем: "мистика". В одном из своих выступлений Мейерхольд здорово высмеял эту "мистику". "Представьте себе, – говорил он, – полутемную комнату. В тусклом свете расплылись очертания предметов. В глубине комнаты вас пугает силуэт чего-то страшного, зловещего, грозного. Что это, кто это? Вам жутко, вас охватывает панический ужас. Вы боитесь шевельнуться. А это всего-навсего брюки, небрежно брошенные на кресло..."

Когда он оборонялся подобным образом, он убеждал, во всяком случае тогда он заставил зал весело смеяться, он победил. Когда в своем знаменитом докладе "Мейерхольд против мейерхольдовщины" (в Ленинграде в марте 1936-го года) он напал на "уродство" и "дрянь" натурализма, он был на коне, это было в точку. Но в "мейерхольдовщину" у него попали и "трюкачества Стравинского", и "левацкие загибы" Прокофьего и "сорняк" у Шостаковича. Это цитаты из стенограммы. Конечно, он крутился: "Шостакович обещает нам в будущем великолепные произведения, но при непременном условии, чтобы он эту способность к мышлению насытил мышлением пролетариата". Он был искренен в первые дни революции. Но неужто он верил теперь, что "стахановцы показали, что они лучше ученых разбираются в том, что нужно для построения бесклассового общества", неужели искренне каялся в своих "крупных ошибках", когда клеймил "пролезшего в театр" Булгакова. Пролезшего! Булгакова! Когда без конца твердил: "наша партия, наша партия" и цитировал почтительно товарища Ангарова?!

Все это есть у Брехта в "Галилее". У состарившегося гения его ученик выпытывает: "Вы отреклись тогда потому, что был второй экземпляр рукописи?"

В этом вопросе надежда, что не было отречения, что была просто уловка, маневр, и Галилей не предал ни себя, ни свое великое открытие. Но Галилей отвечает: "Я отрекся потому, что испугался". Мейерхольд испугался. Кто как

не он знал цену Стравинскому и Прокофьеву, но он знал и другое, что так безопаснее. Эту страшную науку выживания он постигал вместе со своим "великим временем". Но ничто уже не могло спасти ему жизнь. Трагическое возмездие шло следом за его распадающейся судьбой, шло с фатальной закономерностью, не зная пощады. Другие времена, другая, более мощная, более совершенная механика инквизиции, другие масштабы террора. Нет, ему не уготована была судьба Галилея.

В своей последней постановке "Как закалялась сталь" Мейерхольд как бы "проговорился", он выдал себя, свое истинное, он выразил его в том ужасе перед фанатической ослепленностью "красными зорями", перед революцией с ее пронзительным непониманием жизни и человека, которые звучали в каждой мизансцене этого "патриотического" зрелища. До этого были другие спектакли, была "Дама с камелиями", спектáкль воздушный, прозрачный, красивый, как Моне, с красивыми актерами (Царев тогда еще не был припавшим к трону старым сановником), со слепящей живописью мизансцен, с удивительной пластической их рельефностью. "О, Арман!" – этот стон-мелодия Зинаиды Райх, и эта сбегающая по диагонали лестница, и она, Маргарита Готье, застывшая на ступеньках в печали, в мольбе, – как все это смотрелось, как пело...

И после "Дамы с камелиями" это угрюмое зрелище – "Как закалялась сталь". Хороша сталь! Процесс распада, загнивания живого. И

снова Мейерхольд разошелся в своих словах с тем, что создавал как художник: "В нем (Николае Островском) поражали монолитность всего комплекса человеческих данных, всего интеллекта, цельность и чистота его мировоззрения. Это был подлинный большевик, не знающий никаких компромиссов, никаких отступлений от того, что является существом коммуниста. И, конечно, такие люди, такие необычайные люди, мыслимы только в нашей стране". При всем том, что иногда Мейерхольд в своих сентенциях сбивался, путался, бывал непоследователен, здесь его в этой непоследовательности не уличишь. Все ясно, все "железно": "Такие люди мыслимы только в нашей стране". "Несчастна страна, которой нужны герои", – это слова Галилея из брехтовской пьесы.

Согласно негласному и гласному статуту Мейерхольд пытался возвести в доблесть противоестественную радость умирания "во имя", восторг разрушения как высший смысл бытия. Один мой приятель, Женя Кригер из "Известий", как-то встретил меня после тридцать седьмого года и сказал: "Ты – герой!" Потом подумал и прибавил: "Но лучше быть счастливой".

Страну лихорадило, надвигалось превзошедшее все исторические прецеденты массовое истребление народа, а Мейерхольд ставил, вынужден был ставить зрелище об этом истреблении, – в сущности, не то ли же это самое, – об изуверстве и злобе людей "общего дела", стреляющих в упор, не задумываясь, крушащих, давящих, садистов, заставляющих надрываться, мерзнуть,

голодать, терять любимых, и все "во имя"... У Гитлера тоже было "во имя". И мгла шла со сцены, и мерзлость, и вшивость, и безнадега. Не спасал бодрящий финал, залитая "крымским" солнцем сцена, и маска "человека, который смеется", дистрофика Николая Островского. Мейерхольду не простили этого спектакля (он не вышел, это был только прогон), с его "подлинным большевиком". В зловещем тридцать седьмом появилась статья П. Керженцева, – главному режиссеру ТИМ вменялось в вину отсутствие советского репертуара. И еще многое другое. Театр закрыли. Написали длинное постановление и закрыли. Запахло любимым советским словечком: "враг"...

На всесоюзном съезде театральных режиссеров в июне 1939-го года (он проходил во Всероссийском Театральном Обществе – ВТО), Мейерхольд вдруг словно очнулся, он сорвался, – терять ему уже было нечего, – и он кричал с гневом, с болью, он гремел: "Охотясь за формализмом, вы уничтожили искусство".

В зале было напряженно, тихо. Со стен спокойно взирали на трагедию наших дней Ермолова, Савина, Великие Садовские. Наверно, им все это было невдомек, с их званиями императорских. Много лет спустя на этой же трибуне, в ответ на окрики президиума (особенно старался некий Сапетов, про которого говорили, что он завел в ВТО "сапетскую власть"), надсадно гремел Любимов: "Вы не даете мне говорить, но вы не заткнете мне рот". Было что-то вроде скандала. Он здорово шумел тогда. Бесстрашно.

На следующий день Мейерхольда арестовали. В официальной биографической справке, составленной А. Февральским, опубликованной через много лет после гибели Мейерхольда, сказано, что он был ”незаконно репрессирован” и погиб 2-го февраля 1940 года. Незаконно – это не вызывает сомнений. Но что значит это ”погиб”? Кто знает, что скрывается за этим официозным, пригодным для советских энциклопедических словарей, словом: расстрел, пытки, не выдержавшее сердце?! Кто знает!

Мейерхольд! Долгие годы называть это имя было крамолой. Будто и не было такого. Потом, в блаженные хрущевские времена, начались робкие, скользкие доклады и ”вечера воспоминаний”. О формализме в этих выступлениях, разумеется, не забывали. И все-таки после многолетнего застоя в театральной жизни страны, после скуки искусственно насаждаемой ортодоксами-эпигончиками искареженной ”системы Станиславского”, зазвучали и живые режиссерские голоса. Юрий Любимов и его ”Таганка” – это же прямая мейерхольдовская традиция. А Георгий Товстоногов, при всей склонности его к академизму, и он ведь пользуется красками Мейерхольда. Ну а самая театральная глухомань, где-нибудь в Вышнем Волочке или Бийске, – и там театр живет по законам, открытым гениальным человеком, которого сумели уничтожить и духовно, и физически. Ну а вся театральная планета, мировой театр? Разве не был Бертольд Брехт, такая яркая личность, такой крупный, независимый художник, в чем-то

очень важном союзником Мейерхольда?! А Питер Брук, этот гигант современной режиссуры, и он наследует многое из того, что было найдено его замечательным предшественником, и в работе с актерами, и в синтетичности форм, обнаженной сценографической скупости, и вызывающей, буйной театральности. Говорят, не было бы Мейерхольда, был бы кто-то другой, – таков закон движения. Театр двадцатого века не смог бы ужиться с Семирадским или Шишкиным. Тут спорить не с чем. Но так случилось, что был и есть Мейерхольд...

В Васильевском

В стране всегда шла какая-нибудь очередная кампания против "остатков", "пережитков", низкопоклонства, космополитизма, волюнтаризма... Можно еще припомнить неугодные высоким лицам измы, абстракционизм, авангардизм, мало ли! Но дежурным блюдом неизменно оставался формализм.

Вскоре после окончания войны я начала работать в редакции журнала "Искусство кино". Как я тогда прошмыгнула в эту престижную редакцию с моей анкетой, пятым пунктом и прочим, один Бог знает. Видно попалась в добрую минуту на глаза вздорному Пырьеву, тому самому, что пек как блины свои парфюмерные музыкальные комедии про свинарок, трактористов и пастухов. Пестрые и веселые эти фильмы были в почете в верхах, к ним милостив

был и Сталин. Суть этого благорасположения великого вождя к пырьевской продукции с жутковатым юмором схвачена Солженицыным в одном из эпизодов "Круга первого". Сталин смотрит "Кубанских казаков" и удовлетворенно замечает: "А хорошо у нас с сельским хозяйством!" На Пырьева сыпались титулы, один за другим, и вот уже пародийно звучит это "семирежды лауреат сталинской премии". Сам он, хамоватый, наивный, темный самородок, угадывал, что уже смешон со своими пышными званиями, – я помню как он багровел от злости, орал на какую-то уборщицу или курьершу: "Я семирежды лауреат, а ты?!"

Вот этот Пырьев был тогда главным редактором кино-журнала. В редакции сложились с ним панибратские отношения, он стрелял у всех нас трешки, забывал отдать, мы ему напоминали: "Совесть надо иметь, Иван Александрович". Он смеялся и иногда отдавал. Он даже Катю терпел, нашего секретаря редакции, хоть деятельность ее в основном сводилась к часовым разговорам по телефону. "Не может быть!" – это была главная фраза, я бы сказала сакраментальная фраза, которая красной нитью проходила через все телефонные катины беседы. "Не может быть" относилось к разным событиям дня, вроде того, что где-то "выбросили" белые туфли, а где-то и более того, крепдешин. "Не может быть!" ...

Жилось хорошо. Помещались мы в "Доме кино" на Васильевском, там был ресторан, где по карточкам нас прилично кормили, да

еще с белыми скатертями, фужерами и цветочками. Но главная роскошь, истинная радость, — просмотры заграничных фильмов. Наш Васильевский тогда превращался в поле боя, Дом кино штурмовали озверевшие интеллектуалы, полно милиции. Сам Пырьев командовал парадом, стоя у входа он кого-то осчастливливал, кого-то гнал прочь. Однажды он кричал Михалкову: "Сиди дома. Нечего тебе здесь делать". Видно, были у них свои счеты, да и Михалков еще не был вполне Михалковым. Помню "Юность Линкольна" и "Дилижанс", — тогда никак не мыслилось, что через десятилетия буду смотреть эти же кадры в Штатах. Теперь пленка стерлась и потускневшие, черно-белые эпизоды уже не кажутся такими пронзительными. Да и антииндейская направленность "Дилижанса", хоть и были в этой картине замечательные кадры и актерские работы (один пьяненький доктор чего стоил, Чебутыкин, да и только), это изображение индейцев коварными и жестокими дикарями, сейчас мне показалось окрашенным в мрачные политические тона. Но в те мои счастливые кинематографические дни впервые смотрела я и гениальное творение Карне "Дети райка", и вот это осталось навсегда, ночной Париж и ночные тени где-то в глухом переулке, и угловатое с огромными глазами, прекрасное лицо Жана-Луи Барро, и бездомная любовь двоих, так и не обретшая себе прибежища. Тогда же вошел в мою жизнь "Мост Ватерлоо" с юной Вивиан Ли. Старый сюжет, чистое, ангельски-прекрасное дитя, выкинутое судьбой на панель.

Этим летом в Лондоне я добрела по пышному платановому бульвару до моста, с которого бросилась девочка, не устоявшая перед моралью доброй, старой Англии. Помню, как после просмотра в зале наступила тишина. Оно было накаленным, это молчание. И вдруг Лиза Крон, жена писателя Александра Крона выкрикнула громко и внятно: "Все мы проститутки". Я не спала тогда всю ночь, все думала, что ведь верно, это же проституция, вся эта наша жизнь. Но выход ли это, этот мост, и эта Темза? Тяжелая была ночь...

На редколлегию приходили широколицый, улыбчивый Эйзенштейн, Пудовкин, Михаил Ромм, Александр Довженко, Марк Донской. На этих легендарных бдениях председательствовал все тот же "Ванька", семирежды лауреат. Дура я, не записывала каждое слово Эйзенштейна. В этом кинематографическом синклите были воистину умнейшие люди, тот же Ромм, с его драматически сложившейся творческой судьбой, и тот же Довженко, амбициозный, палец в рот не клади, но вот она истинная самобытность громадного таланта. Эйзенштейн был и талантлив. Но он еще был и остроумен. Однажды, когда в редакцию вошел Рошаль, Сергей Михайлович как бы радостно доложил о его приходе: "Рошаль был весь раскрыт..." Про Рошаля лучше не скажешь. Его ораторские эффекты всегда претендовали на душевную искренность. Увы, мне пришлось слушать его рулады на каком-то собрании актива в газете "Советская культура" уже теперь, в пору отъ-

ездов, это было все то же, Рошаль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали...

Иногда, в разгар дебатов, когда скрещивались мнения, а мне бы слушать и слушать, раздавался телефонный звонок. Татка требовала к телефону маму. Я шипела ей в трубку, чтоб она не смела звонить, но было поздно. Великая редколлегия накидывалась на меня, – можно ли так с ребенком! Пырьев даже как-то утер слезу, по обыкновению своему побагровел и изрек нечто вроде того, что дети, – это лучшее, что у нас есть. Однажды он усадил ее в первый ряд на каком-то совершенно недоступном для смертных просмотре. В шубе и валенках. И капоре. "Она же ничего не поймет. Ей спать пора", – молила я. Но семирежды лауреат был неумолим: "Пусть смотрит"...

Я дружила со Славой Юреневым. Тогда он не был еще официозным критиком, представляющим советскую кинематографию в международном масштабе. В нем сильна еще была дворянская косточка, он был обаятелен, любил выпить, поострить, Пырьева презирал, никого не предавал, ни перед кем не гнулся. И трудно поверить, что сейчас Юренев, тот, что бдит и высокомерно решает творческие судьбы, и есть мой старый приятель, – с ним было всегда так легко, мы так хорошо понимали друг друга! И вот, пришло нам в голову тогда напечатать отрывок из записок Эйзенштейна о режиссуре. Мы знали, что Эйзенштейн не угодил Сталину "Иваном Грозным", что он ходит в "формалистах", но хотелось рискнуть и напечатать интерес-

ный материал. Разыгрался громкий скандал, созвали специальное заседание Комитета по делам кинематографии и постановили нашего лауреата с редакторства снять, а редакцию разогнать. Обычно беспринципный Пырьев, вечно пьяненький, раболепствующий, на коллегии был на высоте, не каялся, нас с Юреневым, своих оруженосцев, выгораживал. Мне он позвонил домой: "Деточка, тебе придется подать заявление об уходе. Мы еще с тобой поработаем..." Тем все и кончилось, хорошо без грозной формулировки, без "формализма" в моем послужном списке...

Неинтересный климат

В те же дни, когда разворачивался трагический финал Мейерхольда, попала я случайно на какое-то ажиотажное собрание писателей в Ленинграде. Очередной раз честили формализм. Запомнились мне только два выступления – Алексея Толстого и Зощенко, два ярких кадра, как бы выплывающих из киношторки. Хитрый граф, – общеизвестно, что никаким графом он не был (это его отчим был граф), – настроен был благодушно, всерьез разговора о формализме не принял, обаятельно отбивался и отшучивался и имел вполне эстрадный, шумный успех. Его особый говорок, гениально

подхваченный Ираклием Андронниковым, веселил зал. Все отлично знали, что он "вхож", ласкаем, что веселиться можно. По городу уже давно ходил анекдот, как домработница по телефону отвечает: "Граф в райкоме".

В те дни в Большом Драматическом на Фонтанке шла пьеса Алексея Николаевича "Изгнание блудного беса". "Вот говорят про моих бесов, что это формализьмь". Благодаря приметливости Ираклия, так и слышу это "формализьмь" с мягким знаком. Коммунизьмь, социализьмь, – так обычно говорят в домоуправлениях. "Помилуйте, какой же это формализьмь, – граф недоуменно разводил пухлыми ладонями, – это просто дерьмо!" Зал понимающе ржал, его высокопревосходительству угодно было забавляться.

Красивый Зощенко, с глазами грустного комика, – про такие говорят "с поволокой", – держался подчеркнуто сдержанно, сухо, не без высокомерия. Он еще не был сломан, еще были силы защищаться высокомерием, хотя его-то честили всерьез. "Меня упрекают в том, что мои герои говорят каким-то оглупленным языком, что я нарочно придумываю этот язык, чтоб унизить советского человека. Что ж, когда люди изменятся, когда и речь их станет другой, поверьте, и я сумею не отстать от века". Я цитирую по памяти, где-то в подвалах, быть может, сыреют стенограммы, но это зощенковское "поверьте", и это "сумею не отстать от века", звучит для меня, как магнитофонная запись, сохранившая все зощенковские интонации, и

его голос входит в мою сегодняшнюю чикагскую комнату, как голос Элси, моей американской соседки, упорно приглашающие меня на "бинго".

Сейчас много написано, как Зощенко сник после ждановских постановлений, как зажался, как ушел в себя. Ему казалось, что с ним боятся здороваться. Может и не без основания он так думал. Но его любили, и у него оставалось много друзей. Он уже никому не верил, ни во что не верил. Уже не писалось. Он заболел безнадежностью. И умер в неположенный срок от этой безнадежности, от унижений и травли. Он так и кричал на писательском собрании после "постановления": "За что вы меня травите?!"

В неопубликованных дневниках Бориса Михайловича Эйхенбаума точно записано, как Ахматовой после постановления позвонила Катерли и просила приехать на встречу с какими-то англичанами, "чтобы не было ложных слухов". Этот факт сейчас широко известен. "Ложные слухи", – это звучало истинно партийно. Ахматову спросили, согласна ли она с критикой. Ахматова встала и коротко отрезала: "Согласна". Как еще ответить на эту садистическую комедию?! Она умела быть надменной, Анна Андреевна, когда хотела. А Зощенко был "не согласен", он как бы искал сочувствия у этих любопыствующих зевак, и он так и сказал, что "критики не принимает". Тогда он еще во что-то верил. А потом понял, и, поняв, испугался и они стерли его в порошок, этого замечательного писателя, классика, завещавшего

миллионному своему читателю на веки веков презрение к мещанству, хамству и глупости. Валя Стенич любил повторять начало одного из его рассказов: ”Снег идет в Минусинске. Сорок градусов мороза. Неинтересный климат...”

Абсолютный слух

Дмитрия Жукова я встретила тем самым летом двадцать шестого года, когда моя Марина только-только вступала на поприще писательской жены. ”Жена есть жена” – это Чехов. Писательская жена – это что-то вроде профессии, это не просто жена. Впрочем, разные были писатели, разных масштабов, уровней, разной значимости, и разные у них были жены. Мой отец рассказывал, как студентом ходил он со своими сокурсниками к Анне Григорьевне Достоевской, чтоб поклониться ей, преклониться. А она была не лучшей женой; измученного, больного своего гениального мужа она заставляла работать до десятого пота, чтоб обеспечить детей. Та же тема в иной вариации – в семье Льва Толстого. А семейная жизнь Чехова, какая жестокая, какая ужасная судьба! ”Собака-дуся”, великая актриса Книппер-Чехова в ажиотаже шила себе в Москве туалеты, когда в Бадене умирал Чехов. Надо было нравиться Немировичу-Данченко. По МХАТу упорно курсировала версия, что последними словами Чехова были вовсе не ”я умираю” (он произнес их по-немецки: ich sterbe), а ”как я ненавижу

тебя, проклятая". Пусть это выдумка, чья-то злая сплетня (ссылаются на врача, бывшего в то время в комнате умирающего за ширмой), но ведь почему-то родилась эта версия, выдумка, а может и не выдумка.

Я говорю о другом, о советских женах. Были и среди них такие, как Надежда Яковлевна Мандельштам, "подружка-нищенка". И Ахматова была женой. Она очень смешно рассказывала, как выпускала свой первый сборник стихов и советовалась с Гумилевым как его назвать. "Коля сказал – назовите "Анчар", все равно лучше не напишете, лучше не придумаете". И добавила: "Коля тогда не верил в меня". Это "Коля" и этот "Анчар" – фантасмагория. Неужели они действительно были мужем и женой, Ахматова и Гумилев, два таких поэта, вместе ели щи, считали деньги?

Личностью оказалась вдова Всеволода Иванова. Властная, неробкого десятка, она устроила настоящий скандал Михалкову, когда он, боясь огласки и "волнений", хотел быстренько, втихаря, провернуть похороны Ахматовой ночью, чтоб утром все было тихо. Да не вышло! Пришлось после этого скандала везти останки из Москвы в любимое Ахматовой Комарово под Ленинградом. Там и лежит она под большим крестом, там высечен в камне ее классический профиль, там в стене, к которой примостилась ахматовская могила, скульптор вырезал маленькое окошко с решеткой. Решетку потом залепили, спохватилось начальство. Залепили неуклюже, так что эмблема тюрьмы осталась. Как-то

шла я одна на это комаровское кладбище, дорога длинная, длинная. Идешь лесом, вот и неземной красоты озеро, – Финляндия... Тишина, никого. И вдруг навстречу два каких-то мужика, типичные работяги в потных "фуфайках", в резиновых заляпанных сапожищах. "К Ахматовой?" – бросили они мне на ходу понимающе.

Положение писательской жены престижно, иногда престижнее, чем самого писателя. Писатель все-таки должен трудиться, а жена представительствует. Даже умнейший Корней Чуковский говорил мне как-то про свою вздорную и достаточно невежественную Марью Борисовну, что в литературе у нее "абсолютный слух". Верил ли он в это, – не знаю, но так ему было удобно. Был такой случай в Ташкенте, во время эвакуации. Ему было явно лень слушать стихи какого-то начинающего витии, он отослал его при мне к Марье Борисовне: "Идите, голубчик, она это тоньше меня поймет". И Марья Борисовна "понимала" и судила. Не очень часто, к счастью, – она всегда была погружена в домашние дела, четверо детей, забот по горла. И удары судьбы. Умерла младшая Мура, – ей посвятил Чуковский "Мойдодыра": "Мурке, чтоб умывалась". Потом убили на фронте Бобу, Бориса, остался мальчик Женечка, вся ее жизнь теперь, ее добыча, ее вещь. Не до стихов!

Первое апреля – день рождения Корнея Ивановича. Мне напомнила Лида – надо отметить. Я ломала себе голову, чтобы ему подарить. И вдруг нашла среди остатков своего багажа чудом

уцелевшее, слежавшееся, но не бывшее в употреблении японское мохнатое полотенце, чудо красоты! Реликвия, воспоминание, но для Корнея Ивановича ничего не жалко. Рано утром первого я побежала к нему на улицу Гоголя. Он был параден. На столе торжественно – подношения. Кто-то подарил школьную тетрадь, по тем временам немалая ценность. Рядом стоял стакан с повидлом. Лежал новенький карандаш. Кажется, этот карандаш преподнес ему Эль-Регистан, один из авторов нового советского гимна. И вот – полотенце!

Чуковский тут же стал играть спектакль. Накидывал на себя, примерял, театрально драпировался в этот примятый, увы, пожухлый, но такой дорогой мне кусок прежней жизни. "Я сошью себе из этого кальсоны. Или рубашку – распевал он своим высоким голосом. "Только бы не узурпировала Марья Борисовна, куда бы от нее спрятать? Ведь отнимет!" Он целовал меня, носился по комнате. Изображал ликование. Дождался мой последний японский трофей своего часа. Прихожу на второй день на половину Марьи Борисовны. В эвакуации у Чуковского была своя комната в том же доме, где жила семья, но с отдельным ходом. Словом, захожу я за Лидой к Марье Борисовне и вижу, висит мое драгоценное полотенце на стуле, а на нем большими красными стежками вышито: "*Женечка* Чуковский". Жена знаменитого писателя с "абсолютным слухом" произнесла: "Другой раз, Лидочка, вы *старое* белье к нам в дом не вносите". Вот откуда это было у Коли, хамоватость, хамство.

Но я сейчас думаю о других женах, об особой породе деловитых дамочек, умеющих вертеться на поверхности, напичканных сенсациями: "Слыхали? Только никому!" У них тоже "абсолютный слух", у этих дамочек. Иногда они "причастны", что-то редактируют, где-то консультируют. Судят: "Потрясающе! Грандиозно! Чудовищно!" И не ошибаются, знают, на какую лошадку ставить. У них – "связи".

Марина только начинала, а потом выучилась очень многому из этой суетной науки, и чмокнуться с кем надо на ходу, и похихикать с официанткой из дубовой литфондовской столовки, особенно если есть у этой официантки любовник-влиятельный писатель, и кому-то кивнуть небрежно, взвизгнуть от восторга, встретив кого надо, и не узнать кого не надо. Но она все еще числилась моей "лучшей подругой". Правда, в наших отношениях появился новый оттенок, теперь уже не было ситника с изюмом, когда бредя от Арнштамов по Староневскому, мы наслаждались неожиданно выпавшим зимним питерским теплом, раскисшим грязным снежком под ногами и желтыми точками витрин с бутафорской булкой. Мы не "концепцировали" теперь о любви, она была замужней дамой, сделала партию, как говорила ее некогда великосветская мама, ныне воспитательница в детдоме. А у меня уже завелся червячек тревоги, уже стукнуло девятнадцать, полно приятелей и нет одного, главного. И тут я встретила Дмитрия Жукова.

Севастополь-Омск

В то самое маринино коктебельское лето, когда жив был еще человек в тоге – Максимилиан Волошин, а его овеваемый дикими ветрами деревянный сруб еще не был легендой, а просто "дачей Волошина", когда не выстроились еще по команде вокруг этой пропитанной морской солью крепости поэта безликие литфондовские бараки со стуком машинок, словом, то самое лето, когда окрыленная молодая жена Коли Чуковского "проходила" у писателей, я провела в Севастополе, у дальних родственников. Лето это было для меня тем, что остается на всю жизнь, – сверкающая белизна морских кителей, ультрамарин неба, чувственные пионы. А больше всего запомнился мне золотистый загар малышей-татар, как бы живущих постоянно в море. Они как рыбки плескались в его прозрачной синеве, внезапно высовывая свои темные, веселые мордашки, чтобы снова нырнуть в свой соленый, теплый морской дом. И запомнились мне древние раскосые черты их отцов. Их дело было творить это чудо – виноград. Еще была жизнь. И люди жили на *своей* земле, и занимались своим исконным делом, добывая в поте лица своего из камней и песка эту золотую руду, – узенькие "дамские пальчики", и еще какой-то дымчато-зеленоватый, словно прихваченный инеем душистый виноград. Потом татар "выдворили" из Крыма в холодную, непривычную им Азию, где они умирали...

Зимой семьдесят пятого года мы приехали в Омск в командировку с Т. Он представлял режиссуру, я – критику, как всегда. Наше дело ходить с утра до вечера в театр, на репетиции, прогоны, читки, уроки, спектакли. Мы – "творческая помощь". Это не так легко, как может показаться. У обкома – вертушка, и каждый наш шаг, каждый звук мгновенно отдается в Москве, в ЦК, – у товарища Шауро. В нашей гостинице, недалеко от Иртыша, от того самого места, где каторжанин Федор Достоевский выходил каждое утро из ворот тюрьмы грузить плоты, вдруг обратили мы внимание на необычное оживление. В вестибюле, лифте, этажах, везде полно каких-то военных, и не только военных, но и штатских с печатью на лицах, не вызывающей сомненья. Внизу, отправляясь в театр, с невинным видом спрашиваем: "Что у вас сегодня? Съезд, конференция?" А роскошная блондинка в администраторской, столь же невинно в ответ: "Нет, это Сахаров с женой прибыли". Назавтра открывался суд над Джемилевым. Роскошная блондинка прибавила: "Он ничего, Сахаров. Вежливый. Думал, мы не знаем о его приезде. Входит и спрашивает: Есть свободные номера? И какой-то документ сует. А мы уже с утра получили команду, когда он только собирался в Аэропорт. Номерочек ему неплохой дали". Она была явно горда четкой работой органов, а к Сахарову особых претензий не имела: "Вежливый". Но когда мы спросили, в каком они с Еленой Боннэр номере, она сразу же надела на себя привычную маску: "Не положено сообщать".

С утра мы были в театре, погрузились с головой в наши туманные заботы, а вечером после спектакля за кулисы пришла начальница Управления Культуры, дама, приятная почти во всех отношениях, кутающаяся в пушистую сибирскую шаль, – ей нужны были мы, наши впечатления. "Театр не готов к гастролям в Москве", – мы стояли на этом твердо. И выложили свои соображения. "Но Обком уже решил. Они поедут." И она перевела разговор на другое. Ее подмывало выплеснуть новости дня. Да и нам хотелось скорей узнать, что же все-таки было. Слухи о "скандале" уже просочились и в наше театральное захолустье. Она начала издалека. "Иду я по Терской утром. Смотрю пара, мужчина и женщина. Что-то я таких в Омске не видывала. Оба в дубленках, хороших таких, заграничных дубленках. Думаю, э, да ведь это Сахаров! Пошла за ними, слушаю, что говорят. Дама эта говорит: "Как странно! Почему здесь Терская! В глубокой Сибири, – и вдруг Терская". А он ей: "Так ведь сюда их ссылали, терских казаков. От этого и осталось".

Эта начальница, пронзенная столичными дубленками, ей ведь невдомек, что два этих уникальных русских интеллигента и тут мыслили вслух исторически, мыслили ассоциациями. Страдания крымских татар, – они не сумели быть к ним равнодушны, – и... терские казаки, люди с гор, где струится Терек, и они, изгнанники. Не часть ли это целого, извечных народных трагедий...

Мы возражали против гастролей не зря. Мы волновались, нам потом отвечать. Да и театру зачем срамиться! Мы приводили доводы, доказывали, кипятились. Неинтересный репертуар, ни одной достойной актерской работы, плохое, допотопное оформление, бесвкусные костюмы, ужасные гримы. Но – "Обком решил". И зачем мы только тащились сюда, для чего? А когда мы вернулись, замминистра культуры Зайцев сказал, а нам это тут же передали: "Что ж эти евреи, мы им деньги платим, а они пытаются сорвать нам гастроли *наших* театров...

* * *

Вот и конец моим севастопольским дням, пора возвращаться на родимую питерскую Разъезжую. У железнодорожной кассы сразу бросившийся мне в глаза парень брал билет тоже до Ленинграда. Такой вполне вписался бы в мой чикагский Бродвей с его голоногими, пышноволосыми американцами. Только лицо было совсем не бродвейское, очень уж русское. Он был в шортах, – такого слова тогда еще и не слыхивали, да и мало кто решился бы разгуливать в таком виде. Потом он мне признался, что отрезал парусиновые брюки до колен. И брюки стали короткие, "шорты".

Жуков. Предложение руки

В Балаклаве, – тогда поезда стояли на больших станциях подолгу, – южный базарчик, пестрящий явствами из арабских сказок. Мой хиппи тащил немыслимых размеров арбуз. ”Надо бы надеть штаны, товарищ! Женщины обижаются”, – с этим заявлением подошел к нам начальник поезда, но ”товарищ” не снизошел. Переодеваться он стал только когда вокруг все пришло в движение и у вонючих уборных с вечными лужами на кривом полу, – негде ноге ступить, – выстроились длинные нетерпеливые очереди с зубными щетками. Перед столицей люди наводили на себя марафон. Запахло одеколоном ”Кармен”. В окне мелькнула Салтыковка. Москва!

Зашнуровывая пронзительно желтые буцы, ”бульдоги”, как их тогда называли, мой новый знакомый, не поднимая головы, буркнул себе под нос: ”Знаешь что? Выходи за меня замуж”. Шутит он, конечно. И я тоже быстро отшутилась: ”Ладно”. Но было все всерьез, вполне всерьез...

Сначала все шло по статуту любого поездного романа: ночное бдение у окна, когда в мутных, пыльных стеклах ни зги, только выскочит вдруг из глухой черноты одинокая, светящаяся точка, разрастется, вспыхнет огонек у будки стрелочника, но вот он и уплыл в ночь.

Мы честно торчали так у окна всю ночь, и уже поползли, попятились назад смутные очертания

деревьев, а смуглый парнишка в шортах читал мне стихи. Ночную тишину нарушала дверь туалета, заспанный пассажир, качаясь, бочком полз на свое застиранное ложе, топотала с фонарями и прочей амуницией по узенькому проходу поездная бригада, а этот длинноволосый, хипповатый Митя Жуков не отпускал меня: "... миры летят, пустая вселенная глядит в нас мраком глаз". С этой страстью к поэзии, к Блоку, к его мелодиям, к его предчувствиям, он прожил всю недолгую свою жизнь, до той самой ночи, когда бандиты с мандатами позвонили в нашу ленинградскую квартиру. Звонок был точно такой, как у Мандельштама, ударяющий в висок, вырванный с мясом. Допотопный звонок, – тянешь ручку на себя и дребезжит колокольчик. Было ровно двенадцать ночи, но мы не удивились, мы ждали "гостей дорогих". Всю ночь они трудились, эти опричники, – мятые, рваные листки бумаги плыли по комнате, поруганные валялись на полу книги, те самые, что покупались еще на стипендию, у букинистов Литейного, – любимые книги. На столе стояла вазочка, до краев наполненная копейками. "Это что?" – спросил один из хмырей. "Копейки, двадцать рублей". "Зачем?" "Милиционеру штраф заплатить". Он издевался над ними, этими верными сынами родины. Мне разрешили сесть с ним рядом на диване, и уже под утро, когда все еще шла работа, – они трясли ни в чем неповинные книги за шиворот, они разбросали, совсем как в погроме одеяла и подушки, – он взял меня за руку и спокойно, будто мы

одни и никто нам не мешает, стал читать Пастернака:

”Мы только часть великого
Перемещенья сроков,
И я приму ваш приговор
Без гнева и упрека.

Конечно, вы не дрогнете,
Сметая человека,
Что ж, мученики догмата,
Вы тоже жертвы века”.

Слова эти будто выжжены в моей памяти, с тех пор я не перечитывала ”1905-й год”, не могла. Так что как у Пастернака там расставлены знаки препинания, я не знаю. Может, кому-нибудь это все и покажется красивой выдумкой, плохой литературщиной, но так это было...

* * *

Наш вагон отцепили, бросили где-то на отшибе, чтобы ночью прицепить к ленинградскому составу. Целый день мы бесцельно шатались по Москве, – она была совсем не такой, как сейчас. Она была ”большой деревней”, во всяком случае для петербуржцев, вечно отстаивающих приоритет своего ”бурга”. Еще не было стекла и бетона, не было Дворцов Съездов, гулких, убегающих под землю эстакад, не было роскоши метро. Душой города были Баженов и

Казаков. Сегодня уже мало кто помнит, что здание Правительства СССР в Кремле, – это казаковский бывший Сенат, и Дом Союзов – Благородное собрание с его классическим Колонным залом, это тоже великий Казаков, и Военно-воздушная академия, – и это Казаков, его Петровский дворец. Мы бродили по кривым московским улочкам с их розово-желтыми особнячками, странными казались рядом с их классическими формами серо-бурые лачуги с глазками-окнами, как у испуганных зверьков. Они сравнительно не так давно исчезли, эти избушки на курьих ножках, кривенькие, притаившиеся в тупичках, с чахлыми кустиками сирени под окошками, и пунцовой геранью за занавесками. На их месте теперь громады, неутомимый, живущий собственными своими законами прогресс. Этому прогрессу все равно ведь откуда берутся средства на всю эту московскую помпу, каким рабским трудом даются эти советские "пирамиды".

Я уже знала, что он комсомолец, что у него уникальный почетный комсомольский билет, – с одна тысяча девятьсот *семнадцатого* года, в то время, как верный помощник партии заявил о своем существовании в восемнадцатом. Тринадцатилетним мальчишкой вступил он в кружок рабочей молодежи, и из таких разрозненных кружков пятеро ленинградских подростков, и он в том числе, создали первую в городе ячейку Коммунистического Союза молодежи. На первом съезде Комсомола Митя Жуков был в числе прочих, преподносивших Ленину

цветы. Со мной и здесь фотография этого тринадцатилетнего героя, хорошенького мальчика с бурной биографией "борца"... Ему, как и мне, было девятнадцать. Он уже кончил большевистский пажеский корпус, "зиновьевку", Ленинградский Коммунистический Университет имени Зиновьева. Там обучались марксизму детки вождей и отборные, в доску свои, ребята. Митя был таким, "в доску своим", из рабочей семьи. На его курсе училась Зина Троцкая, он с ней дружил, она не заносилась, не кичилась знатным своим происхождением. Зато о сынке Зиновьева он говорил не раз, что этот шалопай из шалопаев носится по городу на папашином автомобиле, что он балда и ничто. Как же давно она возникла, эта разъедающая страну каста, эта золотая молодежь из высших партийных сфер, так быстро усвоившая уроки приятного ничегонеделанья! Теперь они, правда, несколько другие, эти отпрыски советской знати, не знающие пыток поступления в Вузы для простых смертных, – для них нет ни конкурсов, ни экзаменов, ни анкет, ни "пунктов" (дети даже рядовых сотрудников ЦК пользуются привилегией свободного, без экзаменов, поступления в любое высшее учебное заведение). И вот они потягивают пивко в пабах и дискотеках Америки, где проходят "студенческую практику". Они знают английский и битлов, время от времени навещают Париж "по культурному обмену", дружат с актерской братией: советские принцессы выходят замуж за актеров, циркачей, за людей неопределенных занятий,

причастных к богеме, они осыпают их бриллиантами, равно, как и себя и своих близких. Мне приходилось видеть таких разукрашенных, как елки, див, они любят занимать посты в редакциях и занимаются "интеллектуальным" трудом, и они не знают, что все это вместе называется коррупцией, что они присваивают себе чужое добро, то добро, которое по законам "социалистического общества" должно бы принадлежать народу, и они не знают, что куплены, как куплены их толстомордые папеньки, истуканы в пыжиковых шапках. Нет, этих бриллиантов Митя не предвидел.

Он учился со страстью, для него был не только марксизм — он конспектировал древних философов, — у меня сохранились листки этих конспектов, мелко-мелко исписанных, — наиболее почетное место отводилось Эпикуру. Весь он был парадокс, с этим Эпикуром, и с партийным своим пуританизмом.

Он хорошо рисовал. В нашем надраенном пустом паркетном пространстве, — где хорошо быть бы танцклассу, — в углу затерялся жалкий кухонный столик, здесь мы ели и пили, и учились, и принимали гостей. И тут же на стене висел его карандашный набросок головы Ленина. Ленина он чтил, в его мировую революцию верил свято. Как-то его не было дома, у меня собралась компания, мой профессор фортепьяно Александр Владимирович Зейлигер и сокурсники. Выпили, расшалились, и попался тут моим гостям этот злосчастный Ленин. И началась кутерьма. Ленина они нисколько

не чтили, и только теперь, через полстолетия я отдаю должное прозорливости, чувству юмора и смелости моих приятелей. Они зажгли ватку в блюдечке с постным маслом и подвесили эту лампадку к бородке великого Ильича. Скандал разразился страшный, мой верный ленинец просто вытолкал всю честную компанию за дверь. И со мной долго не разговаривал. Вот что был тогда одурманенный, одураченный Митя Жуков.

Кислая капуста. Фокстрот

Я привела его к Коле и Марине Чуковским на какие-то очередные наши посиделки. Встретили его с недобрым любопытством: это еще что за партийная птица? Был там и дежурный наш остряк Симка Дрейден. Симка начал цепляться к Мите, выяснилось, что мой Жуков не читал Достоевского, над ним хихикали. Мой большевик сорвался и не попрощавшись выскочил за дверь. "Небось побежишь за ним!" — они меня подначивали. За секунду я успела понять, что если я не побегу за ним, никогда мне больше не видать моего Митю. Ведь моего! Потрясающий кадр. Бегу за ним, девченка за своим кавалером, — полное неприличие! Он шел медленно, опустив голову, я схватила его за руку, и он сказал: "Ну и друзья у тебя!" Было совершенно очевидно, они несовместимы, эти "художественные натуры" со своим тенишевским училищем, литературными связями,

Кандинским, Филармонией и этот диковатый комсомолец, грызущий гранит диалектического материализма. Но случилось все иначе, его полюбили, и он заставил с собой считаться. Дружили азартно, встречались чуть ли не ежедневно, часами разглядывали друг у друга книжные трофеи, выкопанные у букинистов на Литейном, и никто уже не мог сказать, что Жуков не читал Достоевского. Потом тушили кислую капутсу и отплясывали фокстрот. Кислая капуста! Квашеная в бочках, посеревшая от этих бочек, от подвалов, от времени, ядовитая и язвящая, она томилась на сковородках, превращаясь в темное, скользкое месиво, до чего же непонятное, но она была единственным нашим явством в те далекие двадцатые на наших шумных пирушках.

Фокстрот — это тоже было убогой радостью, это шарканье подошвами по питерскому узорчатому паркету под одну и ту же скрипатую пластинку. И все-таки это была радость, других удовольствий не было, и вечеринки не обходились без этой "буржуазной отравы", — и как только проникла она к нам, советским чистюлям, сквозь железный занавес!

Кино

Митя учился теперь в Институте восточных языков имени Енукидзе, вычерчивал свои иероглифы: хвостик туда – один смысл, хвостик сюда – другой. Хвостики, точечки, палочки, студенческий бюджет, все та же верная керосинка, иногда березовые дрова в голландской печке и туда же засунутая кастрюлька с варевом. Бежала жизнь... Компанией ходили в кино "Титан", что на углу Невского и Владимирской. Иногда прорывались в Дом Кино, приютившийся во втором дворе на том же Невском, против Троицкой. Здесь было уютно, ресторанчик, а главное заграничные фильмы. Застряла у меня в памяти строфа Сельвинского из тогдашнего самиздата.

Женщины Запада, вы, буржуазки,
Глория Свэнсон, Барбара Ламар!
Пока на кино хоть копейку имею,
Вас не отдам под колеса идеи..."

Нам тоже нравились "буржуазки". Потом появилась "Земля" Довженко, фильм, ошеломивший нас новизной формы. Еще было все на экране черно-белое, а Довженко открыл своими крупными планами какую-то тайну этой черно-белой "живописи". Он был живописцем в кино, живопись его была напряженной и экспрессивной, – серый экран загорался светом и тенью. И вот появилась "Земля", а у нас как

на зло – ни копейки. А тут со двора несется знакомый голос старьевщика-татарина: ”халат, халат”... Сколько раз выручал нас в трудную минуту этот древний завоеватель России. Не думая ни минуты, стащила я с себя, пожалуй, единственное, что было пристойным в моем гардеробе, – шершавую черную юбку, – не беда, что пришлось влезть в нечто менее роскошное, и сбежала вниз. Счастливая вернулась с двумя рублями, и мы смотрели этот знаменитый фильм с его великим кадром – сочные ветви яблони, припавшие к застывшим чертам комсомольца, убитого кулаками. Символика Довженко звала к мести за злодеяния против революции, против этой земли, такой прекрасной и плодоносной. И ты, Брут! И Довженко, этот могучий художник, и он о классовой борьбе. Вот и Коля Чуковский сочинял стихи о том, что был ”страх” и ”стыд”, а теперь вот ”жарко пахнет над садами”.

...”И скажет мне она: ты вестник и поэт,
Ты знаешь, почему над нами
Так легок птичек лет, так ясен неба свод,
Так жарко пахнет над садами.

И я отвечу ей: да, не всегда
Благоухал наш сад как полная кошница
Цветов и трав. От страха и стыда
Кровавым пламенем горели наши лица...”

Торжественно и... цинично. Страх был не в прошедшем, а в настоящем и будущем, он уже

начал свое разрушительное дело, – какие там "цветы и травы"! НЭП сверкнул зарницей, и мы снова в очередях, очередях, очередях...

Из митиного прошлого достался мне в наследство один только его товарищ, Манулька, Эммануил Бурак, прямо для чеховской записной книжки. "Манулька" учился в той же Зиновьевке и до глупости был предан "общему делу". Он и женился идейно, чтоб проникнуть в пролетарскую среду и пропитаться рабочим духом – на работнице "Треугольника", очень славненькой, белесенькой Лизе Прокофьевой. Лиза быля прямо с плаката, – и красный платочек, и кожаночка, и суровость, и розовая приятность. А уж о биографии и говорить нечего; и деды ее, и папа с мамой, так же как и она делали на "Треугольнике" калоши. И хоть Лиза была чистокровной, без всякой там подозрительной примеси "пролетариат", она была женщиной, – мaнулькина назойливая, докучливая партийность, – смесь фанатизма с ханжеством, – ее раздражали, хоть и сама она была, разумеется, в рядах. Манулька был из "буржуев", я помню его брата, адвоката старого образца, с бородкой и галантной многоречивостью. Он этого брата боялся пустить в свою жизнь, как бы чего не напортил. А Лизе, наоборот, хотелось недосягаемого и "буржуев", и "евреев", – первые их ссоры были на почве этих классовых разногласий "наоборот". Мы с ней сдружились. Иногда она пугала меня, когда с эпическим спокойствием рассказывала как дерутся ее родители калошами, теми самыми, которые производились

ими же с таким энтузиазмом. Мать затевала эту драку, когда отец запивал. ”Она его по морде, по морде мужской галошей”, – детализировала Лиза. В конце-концов Манулька ее полюбил, не пролетарскую кожаночку, не красный платочек, и не партийный ее билет, а ее, Лизу, вот такую, с этими галошами, но совсем не глупую, гораздо умнее его. И теперь назревала драма, глубокая человеческая драма, ибо он здорово надоел ей со своей дурацкой одержимостью. Как-то она нацепила дешевенькие бусы, он чуть не взбесился, чтоб немедленно сняла, – разложение! Вот такой был клубок! Она несколько раз от него уходила, он не на шутку мучился, но она возрвращалась, – должно быть, и она завязла в этой истории. Все казалось неразрешимым, но все разрешилось: Маульку посадили еще до тридцать седьмого, его уличили в какой-то ”группировке”. Странно все это кончилось: Лиза бросила завод и уехала куда-то в глушь, в деревню, на какую-то свиноферму. Все было не просто, совсем не просто!..

Уже было над чем задуматься. А Митя все еще не сдавался. Все еще он думал, что все это – партийные заварушки, – только заварушки, что к главному это не имеет никакого отношеиия, что вот-де Ленин, если бы жив был Ленин! Вселенная была бы спасена! Коля Чуковский как-то при мне спросил его: ”Ну, а если ты погибнешь в этой своей мировой революции, что будет с твоей семьей?” ”Семья получит пенсию”. Как в воду глядел! Мы действительно

получили пенсию через двадцать лет после его гибели. Через двадцать лет! Грошовую, "областного значения". И еще в придачу бумажку, жалкую бумажку, хоть и с печатью Президиума Верховного Совета: "... за отсутствием состава преступления..." Дядечка, который вручил мне этот документ, интимно наклонился ко мне: "Ваша дочь может писать в анкетах, что отец умер от перитонита". Они потом дали мне и такую бумажку: "... умер от перитонита в 1943-м году". Вот в такие игры играли с нами...

Многоуважаемый шкаф

Первое наше семейное лето мы провели с Митей в Детском селе, бывшем Царском. Потом только это стало теперешним "Пушкиным". Любовь Ивановна, митина мать, была типографской работницей, она умерла от отравления цинком совсем молодой. Ее жизнь была драмой, ее выдали замуж, как в старых русских песнях, за нелюбимого, и вот была отрада – сын! Ее не стало в тот год, когда мы с ним встретились. Я ее помню, она таяла – желтенькая тридцатисемилетняя старушка. "Женись", – сказала она сыну, – "она хорошая". В ней не было ни капли мещанства. Митя носил ей цветы. У него это было врожденное, эта тонкость... Как-то он был у меня, мы еще "не расписались". Я играла ему любимый его двадцатый прелюд Шопена. Там широкие траурные аккорды. Он вдруг встал: "Не надо, не играй, – мама умерла". И

ушел, почувствовал, позвонил через два дня после похорон...

А "батя", розовощекий, – печеное яблоко, надраенный, есть у меня его фотография, при жилете, усах и цепочке, не слишком-то потрясенный этой потерей ("она и супа-то не умела сварить"), сразу же из квартиры в этом "Детском" смылся, завел себе новую спутницу, деревенскую тетку с носом-чайником. Они оба работали в какой-то артели, а дома самозабвенно пекли пироги с капустой...Их брошенная квартира была недалеко от станции, в монументальном доме, некогда цитадели князей Урусовых. Боже, что это было за логово, эти аппартаменты с приметами былой роскоши! В них бы "триллеры" снимать, так все было здесь страшно, так напоминало о холоде смерти. Соседи постарались, – растащили все, что было мало-мальски пригодно для жизни. Мы не нашли ни такой драгоценности как примус, ни чайника, ни керосинки. Что было делать?! В нэповской лавченке давно заприметили мы какао, милое какао, напоминавшее о моем мелькнувшем барском детстве. И хоть были мы голы и нищи, какао, ароматное, божественно-нарядное в какой-то коричневой упаковке с золотом, было приобретено! Чтоб его сварить, мы жгли остатки мебели, александровский шкаф красного дерева, застрявший здесь как чеховский Фирс. О шкафе забыли. Страшно вспомнить, – чтоб растопить нелепо-громадную, рассчитанную на княжеские пиршества изразцовую плиту, юные вандалы жгли этот воистину

многоуважаемый шкаф! Красное дерево горело прекрасно, плита накалялась и крошечная кастрюлька с вожделенным какао бурлила. А потом уже нечем стало топить, уже сожгли и пару павловских кресел, и мы пили какао и незакипевшим. Мы пили его с дивным черным ржаным хлебом, и это было истинное счастье! Марина и Коля Чуковские притащились за нами в Детское, вчетвером мы жили упоенные нашей "прекрасной бедностью", пропадали целыми днями в Александровском парке с его призраками, запросто разваливались на божественных ступенях Камероновой галереи, потом разморенные, разленившиеся, счастливые глотали прохладную влагу из разбитого кувшина девушки, той, что навечно застыла в печали над осколками... Здесь, по этим торжественным, тихим аллеям, бродил "смуглый отрок", — теперь он в бронзе с раскрытой книгой на коленях. Здесь и высечены эти его вечные слова: "Куда бы нас ни бросила судьбина..."

Мой старший брат

И тут вдруг из ссылки вернулся мой брат Маркуша. Не помню, по каким таким высшим соображениям, но мама и сестры, запуганные насмерть, решили, что безопаснее для всех, если он побудет первое время у меня в Детском. У "классика" Николая Погодина в "Кремлевских курантах", где романтик Ильич беседует по ночам на бульваре со звездами, есть такой

комический персонаж – ”испуганная”. Это про них, они и были ”испуганные”, – мои домочадцы, но так ли это смешно, жить под страхом нагана, приставленного к твоему виску, или виску ближнего! Маркуша привез с собой среднеазиатский угольный загар, его высохшее лицо являло собой впадины, углы, тени, как у кубистов, он был угрюм, закрыт, недоверчив. Ситуация была не из приятных. Мой муж и мой брат исподлобья разглядывали друг друга. На сценах советских театров сестру и брата разделял ”огненный мост”, жены стреляли в мужей, дети самозабвенно доносили на отцов. Героическая советская драматургия не отставала от великого времени. Митя был зажат, неспокоен, должно быть, и он побаивался, – вдруг кто-нибудь стукнет, любопытные всегда найдутся, любопытные и сознательные. Все это было и сложнее. В смутное для России время, когда решалось кому и как вести страну, как чортик из коробки выскочил Ленин. И страну прошляпили. ”Мы пойдем другой дорогой”, – сейчас это звучит трагикомически. ”Другая” ленинская дорога обернулась дорогой нечистых, гибельных авантюр, казней, крови, террора. Керенского советская история записала в шуты гороховые, в персонаж с переодеваниями из ”Тетки Чарлея”. Обсмеяли и меньшевиков, не только уничтожили, пересажали, истребили, но и превратили в памяти народа в жалких паяцев, в клоунов с бородкой, в пенсне и допотопных смокингах. Но вот он, живой меньшевик перед нами, насупленный, молчаливый, и ни

бородки, ни пенсне, ни болтающегося, потертого смокинга. Хлебает вместе с нами какао. Странно и страшно жили мы это время, недружелюбно, "в приглядку". Напряженно. Брат мой, враг мой!

Алешина горка

Но один раз пошли все-таки вместе в распахнутую для культпоходов и зевак последнюю квартиру Романовых. Именно квартиру, не дворец, обыкновенную, бесвкусную, буржуазную квартиру со столовой черного мореного дуба и вазочками модерн, узенькими как дудочка. Только горлышко пошире. В спальне у царицы – несчетное количество фотографий. Вот и хозяин дома, глава семьи, глава страны, император, в рамочке, в собольей шапке и опереточном охотничьем костюме. Ряженый. Рукой Александры Федоровны латинскими буквами: "Никки-сокольничий".

И в полном несоответствии с Александровским дворцом, величественным и строгим, где один только паркет являет собой чудо творчества, где потолок уходит ввысь, в небеса, – на рабочем столике царицы-Алисы белый телефон, показавшийся мне тогда фантасмагорией. Телефоны уже никого не удивляли и до революции, но этот белый с золотыми инкрустациями! Сейчас этой бесвкусицы полно в витринах нью-йоркских магазинов... На половине Николая Александровича – "турецкая" комната, где

курили, валялись на громадной тахте, отдыхали после обеда. Как туда встроили эту тахтищу? Особой любовью любил Никки свой бассейн-ванну, соединявшую спальни супругов. В этот пул доступа не было даже детям, только с особого царского разрешения. В большом зале-холле, – горка, не такая как в русских дворах, снежная, с мерзлыми санками, но все-таки можно весело катиться вниз по ее накатанной деревянной крутизне. Эту горку очень любил больной Алеша, прелестный мальчик в матросске, – таким его знала страна. Это была его горка.

В этом же зале портрет Марии-Антуанетты во весь рост, во всей пышности века. Подарок Франции Александре Федоровне. И рядом такое же, полное помпы, изображение самой Александры Федоровны, в жемчугах, в тяжелых складках шелков, припадающих к стопам императрицы. Две казненных королевы. Должно быть, это уже экспозиция дворца-музея, куда и мы пришли поглазеть...

Придворные забавы

Через много-много лет, страшно сказать, через полстолетия, лечу в командировку в Свердловск. Знаменитый Свердловский театр Оперетты готовится к московским гастролям. Успех любого периферийного театра в столице, – это очень важно, это заслуга первого секретаря Обкома. Это он, хозяин вотчины так хорошо воспитал актеров. Это при его дворе так

процветает искусство. Но не дай Боже что-нибудь в столице не понравилось, секретарю-то ничего, а театру будет плохо. Всыпят кому надо по первое число и "секретарь", и московские чины, и свои родимые, областные. Так и живут периферийные театры, те, что покрупней при дворах своих партийных владык, как некогда при герцоге веймарском. Или при Людовиках.

Много лет был в Свердловской области первым секретарем Кириленко, дружок Брежнева, глава его украинской камарильи. Обычно областные партийные деятели, оказавшись в столице на высотах, продолжают радеть родным театрам. Кому "заслуженного", кому "народного" подкинут. Полянский, когда правил Краснодарским краем, сильно был привержен к "Марицам" и "Баядерам", к опереточным ножкам, перьям, канканам и батманам. Трудно небось теперь послу Советского Союза в Стране Восходящего Солнца без этуалей областного значения! Кириленко, тот не такой театрал, но и он внял мольбам дам из свердловского Обкома и обещал привести на спектакли свердловчан "самого", своего великого друга. Театру уже мерещился Брежнев в ложе, труппу лихорадило. Дни и ночи все в тетаре гудело, пело, гремело, актеры долдонили один и тот же текст до десятого пота, надрывались в руладах певцы, взлетали и трамбовали планшет балетные, спектакли перестраивались, перекраивались, летели самолетами столичные авторы, чтоб дописать, исправить, вставить... Этот мираж,

– Брежнев, значит и Политбюро, в газетах – "посетили" – было от чего потерять голову.

Главный режиссер Володя Курочкин, бывший комик, переигравший всех управдомов (пожалуй, единственное, над чем дозволено смеяться), сделавший головокружительную карьеру, на этот раз дрейфит: уже зримо маячит перед глазами звание Народного СССР – таких единицы в стране, – а вдруг сорвется?! Мою посуду у себя на кухне, где всегда со мной при этой важной операции телефон. Звонок: "Свердловский Областной Комитет Партии. Мы уже согласовали с Мелентьевым (с тем самым, про которого Солженицын написал, что у него лицо, как место, на котором сидят). Надо "помочь коллективу". "Помочь" – значит взять на себя всю ответственность. И что-нибудь почудится товарищу Шауре, или еще, не дай Боже, его заместительнице товарищу Зое Тумановой, особе мрачной и тупой, и все начальники уйдут в кусты, а вас "вызовут на ковер": вы проморгали, проглядели, допустили. Там не шутят, в ЦК.

На этот раз меня поселили не в "Большом Урале", отделе для толкачей в кожухах, пробавляющихся в основном насчет коньячка в буфете. Пить начинают с восьми утра, когда открывается буфет. Нетерпеливо стучат в дверь, если закрыто в одну минуту девятого. Меня всегда занимала эта проблема: откуда у них деньги на это дело. Ведь сидят они в буфете часами. И когда они "толкают"?

Я часто ездила в Свердловск. И всегда был этот "Большой Урал", крошечная клетушка без

удобств, умывальник с холодной водой и пол километра до ближайшего сортира. На этот раз – роскошный "люкс" с пальмами, коврами и тюлем. Аппартаменты, – три комнаты. Я и не подозревала, что в Свердловске есть этот таинственный отель, притулившийся где-то за углом, видимо только для "своих". Уже звонила Лидия Александровна, завотделом пропаганды Обкома, спрашивала, не нужно ли чего, и хорош ли номер, и не нужна ли машина (театр за углом). Она мила, подтянута, любезна, эта дама, и она смертельно боится этих гастролей. На репетициях, сидя со мной рядом в темноте зала, Лидия Александровна что-то судорожно записывает, каждое мое междометие, каждый вздох. Я у нее "ученый еврей при губернаторе".

За кулисами меня окружают актеры, задерганные, замученные. Они мои многолетние друзья, такие, какие они есть, обаятельные и вздорные, склочные, ревнивые, с Божьим даром и без, словом актеры, особое человеческое племя, живущее театром, только театром, его блеском и обманами, его отравой, дурманом, рисковостью. Мне часто говорили, что я веду себя неправильно, что между критиком и актерами должна быть дистанция, но для меня это так много значило в той жизни, эта их доверчивость, и невольная моя причастность к их терзаниям, и к вспышкам счастья, когда и зрительный зал вспыхивает, и счастлив тоже.

"Еще, а еще что?" – они пытали меня с чисто актерским эгоизмом и назойливостью, они вертелись вокруг меня, выспрашивая, выпытывая, –

в глазах испуг и надежда. Актерская жизнь, ох, нелегкая это жизнь! Зрители ведь чаще всего и не знают, что такое актерская бессоница...

Самое трудное – выстроить гастрольный репертуар. Тут нужны стратегия и диалектика. С одной стороны, благонадежность, патриотизм. С другой, – надо нравиться зрителю. Зритель ведь ”голосует ногами”. Не пойдет на эту благонадежность, и на этот патриотизм. И тогда – пустой зал. Правда, есть выход, ротами приводят солдатиков. Но и с ними не всегда просто: ”Мы уже ходили, пусть другая рота идет”.

Готовясь к этим сумасшедшим гастролям, театр еще задолго делал ставку на юбилейный спектакль, посвященный двухсотлетию Екатеринбурга-Свердловска. История Урала – благодарнейший материал, ”Русский Клондайк”, сколько фантасмагорических судеб в его далеком прошлом. И вот, Григорий Варшавский, профессиональный драматург, профессиональный поэт, впитавший в себя с молоком матери воздух уральских каменных гор, написал пьесу с зазывным названием ”Екатеринбургский бал”. Спектакль с Петром Первым, Екатериной, ”диссидентом” Татищевым, сосланным Петром на Урал и много сделавшим для развития его сказочных богатств, шел в городе с шумным успехом. И вдруг непредвиденный конфуз: автор пьесы надумал переселиться из столицы Урала в другую столицу, в Тель-Авив. С ним беседовали по душам, вызывали в Обком, журили, уговаривали отказаться от этой совершенно безрассудной и антипатриотической затеи, –

автор "Бала" сокрушался, соглашался, обещал исправиться и тихо уехал. Что же везти в Москву, чем удивить? Был генеральный спектакль, и вот такой прокол! Тут, словно пользуясь моментом, и прошмыгнул на афишу театра американский "хит" – мюзикл "Хэлло, Долли". И бродвейская отрава, все эти парады, марши, чечетки, супер-занавес с каретами начала века, и танцы с отмашками, прыжками и прочей эксцентрикой, и Бойкая Долли, кознями и интригами добывающая себе женишка, – все это расположилось на свердловской сцене, благонадежной и патриотической, с полным комфортом. На гастролях эта буржуазная зараза и стала гвоздем. Леонид Ильич так и не приехал в свою царскую ложу, даже Кириленко не удалась эта затея. Зато кириленковское семейство не вылезало из театра, очень ему понравилась пройдошистая американка, ее туалеты, ее шляпы, ее веселый юмор, и гимн в честь всех ее ловких, лихих, бизнессных проделок: "Хелло, Долли"... А Володя Курочкин получил Народного СССР.

За углом, примерно пол квартала, – Ипатьевский особняк. Сейчас его уже снесли. Не надо быть монархистом, чтобы вас неодолимо тянуло туда, взглянуть, пройти мимо. Ночами я часто вдруг просыпалась в моем люксе с пальмой и тюлем, и все думала об этом кровавом прологе к трагедии, именуемой революцией. В театре мне дали почитать книжку, эта книжка должно быть и была повинна в моей бессонице. В ушах опереточный звон, фортиссимо оркестра,

перед глазами приплясывающий Менелай и Прекрасная Елена в рыжем перманенте, а я впилась в это потрепанное издание Екатеринбургского Совета Рабочих и Красноармейских депутатов, — "Хроника последних дней Романовых". Все вроде знакомо, все пережито, читано-перечитано, а я до рассвета не могу оторваться от чтения, и будто вижу все это новыми глазами, и все становилось ночным кошмаром, неотвязным в этой близости к дому, где их убили.

В книжке — фотографии. Четыре милых барышни в белом, в модных тогда узких длинных юбках и летних панамках играют в крокет. Это — Тобольск, еще полный надежд. От крокета веет миром и безмятежностью. В детстве мы заигрывались этим крокетом, нас звали обедать, мы ничего не слышали, мы жили этими упрямыми шарами, не желавшими нестись в нужную дужку. Темнело, и шары отдыхали, и на поле боя валялись брошенные деревянные молотки. Почему теперь не играют в крокет? Он растворился в моем прошлом, в том кусочке детства, что достался мне, совсем небольшом кусочке.

А вот Александра Федоровна и Николай Александрович на прогулке, в лесу. Исподволь шла подготовка к бегству в Англию, они верили в спасение.

Я разглядывала эти мирные фотографии, и перед моими глазами была девушка, выросшая в тенистых аллеях александровского парка, Ольга, кокетничающая теперь с солдатиками на

карауле, чтобы отвлечь от проникающих к узникам посланцев короля Георга. Потом их перевели в Екатеринбург, вот в этот самый дом за углом Оперетты.

Я вычитала в книжке и нечто для себя новое. На заседании Совета Рабочих и Красноармейских депутатов, сообщение о расстреле семьи Романовых было встречено "бурным выражением восторга".

А на заседании Совнаркома в столице, когда нарком Семашко отчитывался в успехах народного здравоохранения, в зале появился гонец с Урала с радостной вестью. Свердлов наклонился к сидевшему впереди Ленину и шепнул ему что-то на ухо. Ленин поднялся, прервал Семашко и лаконично информировал заседавших о "ликвидации" царской семьи. На этот раз сообщение было принято молча.

Тогда во дворце, на этой нашей семейной экскурсии с большевиком и с меньшевиком, перед портретами двух казненных женщин, в мертвой квартире последнего русского царя, в этом буржуазном мирке с бассейном, мореным дубом и вазочками, каждый думал о своем.

"Свобода, свобода, сколько преступлений совершается во имя твое". Эту фразу жирондистки Ролан вспомнил вдруг Маркуша. И прибавил: "Они умели умирать красиво, французы, они обольщались, думая, что умирают за свободу"...

В моем роскошном отеле в Свердловске я засыпала под утро, и обычно меня будил

звонок из Обкома: "Как вы думаете, не заменить ли парик Елены?! Больно рыжий. И потом, этот Калхас, что за юмор: "жрец, а жрать нечего!" Видно, Лидия Александровна тоже не спит ночами...

Маркушин эпилог

Дела моего брата Маркуши начали выправляться, его прописали в Ленинграде, он сдал экстерном за курс Университета и у него появилась работа, черный костюм и знакомые. А с лица чернота сошла, и ожесточенность, и уже не стал он похож на портреты кубистов. Его круг оказался довольно фатовским и светским: молодая университетская профессура, сын известного историка и сам историк Павлик Щеголев, большой, толстый, добрый, – таким представлялся мне Пьер Безухов, Яков Иванович Давидович, Валя Стенич. Они развлекались, острили и пугали меня снобизмом. Собирали эполеты царской армии, знали названия всех царских полков, и все в таком роде. Что-то было для меня в этом непонятное, не вяжущееся с мрачной гордыней и насупленностью моего брата тех первых его дней в Детском...

Однажды он пришел ко мне на улицу Марата. Я была одна. Он положил передо мной тонкий журнал. "Социалистический вестник"! "Хочешь прочесть мою статью?" Так вот оно что! Все это было только мимикрией, или передышкой? Его арестовали, следуя законам

драматургии, именно тогда, когда у него возникло нечто, пусть неясное, смутное, но все же похожее на роман, – из этого, может быть, что-нибудь бы и вышло, но не вышло ничего. Следовать за ним все равно было невозможно, некуда, так что некрасовской женщины из нее все равно не получилось бы... Больше я его уже никогда не видела.

После нескольких лет суздальской одиночки (через много лет я попала в Суздаль туристкой, – до чего же они прекрасны, эти игрушечные, расписные церквушки), его перевели на свободное поселение в Мариинск, за Абакан, в дебри Красноярского края. Это сказочный край, богатый и необыкновенно живописный. Горные хребты, леса, Енисей... Но он ничего этого не видел, не знал, он жил "на поселении" в этом мрачном Мариинске, ходил отмечаться, вдыхал застовшийся воздух сибирской каторги.

Мама поехала к нему. Она была домашним человеком, редко выходила из дому, да и нельзя сказать, что ее занимало хозяйство, хотя большая часть ее жизни проходила в сложных дебатах с примусом, в совершенно клоачной, сырой и холодной кухне. Примус то гас, то чихал, то вспыхивал, угрожая пожаром, она его ругала, этот астматический несуразный аггрегат, накачивала снова и снова, а он злобно шипел и замирал именно тогда, когда надо было кого-нибудь кормить, кто-то опаздывал и все срывалось...

И вот она собралась в путь, спокойно и твердо. Она полезла в шкаф, стоявший в коридоре около кухни и откуда-то из глубины извлекла две коричневых эмалированных кастрюльки, большую драгоценность по тем временам. Она уже давно прятала их от нас: вот он вернется и будут у него две эти новенькие кастрюльки. И жизнь у него пойдет. Теперь они отправлялись вместе с ней в Мариинск, дождались своего часа. Мы натаскали продуктов, кто что мог, главным образом сухари, сахар, крупу. Страшно было думать, как она доберется с этим неподъемным чемоданом, и заснет ли в этом темном, провонявшем карболкой вагоне, и как будет с кипятком, – кто ей принесет?! Она вернулась молчаливая, одичавшая, добралась до своего примуса и все пошло по-старому.

А от него вскоре пришло письмо, что он опять в тюрьме, в иркутском централе. И несколько лет мы ничего о нем не знали. И как-то привыкли к тому, что его нет. Только мама стала еще молчаливей. Однажды поздним вечером, – я была у своих на Разъезжей, – раздался звонок. Мама уже спала. В переднюю вошла незнакомая женщина. Вернувшихся оттуда сразу узнаешь: на лице все те же тени и углы, и запавшие, диковатые глаза, и густая желтизна кожи, и какая-то особая тюремная худоба. Она нас как-то разыскала, чтобы сообщить, что брат умер от тридцатидневной голодовки. Там же, в Иркутстке. Больше она ничего не знала.

Я помнила его мальчишкой. Он был совершенно невыносимый. Как-то изобразил из себя

индейца, вымазался красной краской, воткнул в голову куриные перья и носился так с дикими криками по квартире, и бедная наша гувернантка, мадмуазель Мезьер, только жалобно попискивала, пытаясь за ним угнаться: "Маркюш, Маркюш"...

А мама так и не узнала правду и до последнего своего часа все ждала его...

Рост благосостояния

Наша с Митей семейная жизнь входила в берега. Мы оба учились. По утрам в наше пустое пространство, – его никак не отопишь, не согреешь, – врывалась соседка Клавдия Федоровна, лихая и весьма ядовитая старушенция, вникавшая во все наши дела. "Приходила товарищ в юбке" – ликуя доносила она мне, когда в мое отсутствие к Мите забегала какая-нибудь из его сокурсниц. Было заведено, что она нас будит, и так как дело это было нелегкое, – вылезать в холод не хотелось, – она размахивала над нашими головами чайником с кипятком, грозя ошпарить, и кричала прокуренным, веселым басом: "Вставайте, *косомольцы*!" *"Комсомольцы"* – это слово ей не давалось, и так прижилось у нас это *косомольцы.* По вечерам Митя подрабатывал, учил на каких-то курсах повышения проводников вагонов марксизму. Очевидно, это было очень важно, чтоб проводники, в основном подметалы и мойщики вагонных сортиров, знали про прибавочную

стоимость, это расширяло их политический горизонт.

Мы, во всяком случае, разбогатели и купили рояль. Это был прямострунный, длинно-хвостый ихтиозавр из необыкновенно красивого и редкого розового дерева. Такое встретишь, пожалуй, только в Питере. Где провел он свое аристократическое прошлое, – кто знает! Его, видимо, никто не покупал из-за этих гигантских его размеров и совершенно допотопной конструкции, и нам сбагрили его за бесценок. Теперь можно было, на страх врагам, и главным образом, вредной Клавдии Федоровне, терзать октавы из скрябинского концерта, – я уже кончала свое училище. И концерт надо было знать "вхруст". Кроме того, мы, наконец, "обставились", – кухонный столик и мой Беккер, – этого уже было вполне достаточно, чтобы считать наш интерьер законченным. Тем более, что кампания наша стала расти вширь...

Экстраваганцы Вали Стенича

Одним из новых наших знакомых, нашим завсегдатаем, стал Валя Стенич. Он сам про себя говорил, что он "городской сумасшедший". В питерских интеллигентских кругах его действительно знали все. Он был популярен и в Москве, и как блестящий переводчик, и как оригинал и эксцентрик, единственный в своем роде. Во-первых, он был денди. Так про него сказал еще Блок, хоть он и не одобрял

этот дендизм. Блок тогда мыслил "правильно".

На фоне нашего убогого быта, Стенич выглядел как "орхидея на помойке". Этот афоризм я украла у Фаины Георгиевны Раневской. Всегда отутюженный, накрахмаленный, отдраенный в своем единственном буклистом сером пиджаке, Валя действительно был среди нас орхидеей. Я не помню, чтоб он когда-нибудь говорил на политические темы всерьез. Но насчет советской власти Стенич прохаживался так остро и метко, что я не очень понимаю, как это все уживалось с нашим домом, с моим Митей, с его верой в коммунистическое далеко. Митя тогда еще не был "задумавшимся", хоть от многого он уже поеживался, от чисток, уклонов, посадок, от студенческой газеты с проработкой Есенина как нытика и оппортуниста, от вползающего в наш быт тартюфства. Они были очень забавны, он и Стенич рядом. У Мити была суконная синяя толстовка, вроде китайской униформы, но валино щегольство, его галстуки и отливающие блеском крахмальные воротнички ему импонировали, это был Стенич таким, каким он был, в этом была его дерзость, нежелание жить по чужой указке. И Митя его любил таким.

Настоящая фамилия Стенича была Сметанич, он был родом из Сербии, но вряд ли помнил родину, а помнил старый Петербург, весь он был из этого старого Петербурга. Отец его был богатым человеком, до революции владел громадным магазином антиквариата, — это был

очень знаменитый магазин на Невском, на той стороне, где Дума, ближе к Неве.

В "Астории", в совершенно недоступном для нас ресторане, у него был приятель, случайно затерявшийся осколок врангелевского баронского рода. Этот Врангель был там в конце двадцатых метрдотелем и был в этом амплуа блестящ. Мы видели его однажды, важного, с длинным как у англичан подбородком и пышной седой шевелюрой. Валя его обожал, выведывал у него всякие интересные байки и потом посвящал нас в эти тайны мадридского двора, и когда он пересказывал эти врангелевские новеллы, глаза у него блестели под стеклами очков, он был в своей стихии. Он был блестящий рассказчик, Валя Стенич, но никогда не помнил своих рассказов и не в состоянии был их повторить, – все это были вспышки, экспромты, тут же улетучивавшиеся с дымком папиросы. "Жить в стране, в которой три четверти населения сидит орлом, – это унизительно". Однажды, сидя за столом с рюмочкой водки, он сочинил сценарий. "Жили-были на одном заводе Гуд и Шлехт. Гуд горел на работе, а Шлехт вредил. Как-то ночью этот Шлехт просверлил дырочку, и из дырочки пошла лава. Предзавкома Настя заткнула дырочку пальцем и так героически простояла до утра. Шлехта сажают, а Гуд вступает". Вот и весь сценарий. В нем – вся советская драматургия с ее, в основном неизменным, только чуть варьирующимся конфликтом: героизм и вредительство. Достаточно вспомнить погодинскую пьесу "Темп", написанную уже

позже, воспевающую первую пятилетку. Ведь сколок со стеничевского сценария...

Стенич дружил с московскими писателями, он был центром модной тогда писательской компании, – Никулин, Ильф, Петров, Катаев, Левидов, Олеша. Кстати, удивила меня сноска в 4-х-томном издании Мандельштама в Нью-Йорке. "Стенич – приятель Олеши". Вот и все, что, оказывается, можно сказать о Стениче? И почему-то из всех его друзей выбран один Олеша?

Он любил гусарские выходки последней московской богемы, в Москву ездил часто и всегда привозил оттуда массу всяких увлекательных историй. Про Ленинград он говорил, что нельзя жить в городе, в котором торцы. Тогда Невский не был еще асфальтирован, и я помню, как наводнение 23-го году вывернуло дыбом, выкорчевало, расшвыряло этот уличный деревянный паркет, эти торцы во все стороны, и как это было страшно, и как напоминало о "Евгении бедном". Валя любил столичный шум, его торцы не трогали, не умиляли. Он кружился в хороводе знаменитостей, и сам был знаменитость. Неужели и Валентин Катаев, единственный из них живущий, действующий и ныне, маститый, злой, верный сын своего времени, написавший некогда прекрасный роман "Белеет парус...", а сегодня, за восемьдесят, "бегущий за комсомолом" сюрреализма, неужели и он кружился в этом бесноватом, мальчишеском хороводе?!

Когда переносили прах Гоголя на Новодевичье, кто-то из этой веселой компании якобы украл ребро Гоголя. Странная забава! Приехав из Москвы, Стенич взахлеб рассказывал об этой малоправдоподобной истории, попутно украшая ее всякими нюансами и деталями. То ли это была их общая выдумка, этой расшалившейся взрослой детворы, то ли плод неистощимой фантазии одного Стенича, только это гоголевское ребро, будто таинственно вернувшееся восвояси, обрело силу чисто гоголевской фантасмагоричности.

Мы привыкли к розыгрышам Стенича. Откуда-то выволок он на свет Божий старую "Биржевку", уже в те дни доисторическую желтую газетку "Биржевые ведомости", напялил на голову цилиндр и пошел фланировать по Невскому, дразня этим маскарадом. Можно бы вспомнить желтую кофту, да нет, не то, он-то эпатировал не мирных буржуа, а "органы", навлекая на себя опасное их внимание.

Кстати, о желтой кофте. На одном из собраний в Союзе писателей, "под занавес" моего там существования, – кажется уже были визы в кармане, – Евтушенко, как всегда с эффектами заправского эстрадника, выдал жалостную историю о том, как бедному Володечке Маяковскому нечего было носить, и как его бедная мама (повр мэр) скроила ему эту желтую кофту из какого-то одеяла или скатерти, точно не помню...

Жили Стеничи, Валя и его жена Любочка, фифа и модница, на Канале Грибоедова в

писательской надстройке, среди богов ленинградского Олимпа. Его квартира была впритык с квартирой Бориса Корнилова, замечательного поэта. Когда в том же тридцать седьмом к Корнилову пришли его забирать, он читал какую-то книжку. И до самого утра, пока они шарили и усердствовали, Корнилов не повернул головы, он просидел так всю ночь, уткнувшись в книгу, не удостаивая вниманьем незванных гостей. Валя, как бы невзначай, видел это...

Стенич любил красивые вещи, и в квартире у него было красиво. Они жили от гонорара до гонорара. В первые дни покупались в знаменитом магазине на Невском 112 "Смерть мужьям", — самые изысканные туфли на самом высоком каблуке, в дом втаскивалось красное дерево. Насчет туфель, — это был валин героизм, он был скуповат, но Любочка не могла иначе, она всегда была роскошной. Потом неделями ели один гороховый суп. До следующей получки, и следующих излишеств. Особым почетом пользовался у Вали его письменный стол, совершенно простой и, вместе с тем, аристократ, изысканный красавец, напоминавший пушкинский на Мойке, тот, на котором и по сей день — последние оборвавшиеся строчки поэта...

В кармане смешного, короткого валиного халата всегда торчала специальная тряпка, и он поминутно ее вытаскивал, чтобы стереть с бархатисто-вишневой, сверкающей поверхности своего любимца только им одним примеченную пылинку. Он никогда за этим столом не работал. С вызывающей откровенностью он говорил,

что неспособен писать свое, что настоящему писателю пишется и на подоконнике, и в милицейской будке, а у него вот этот александровский уникум, а не пишется. В минуты таких горьких признаний, он говорил, что он "самый веселый импотент в мире". Переводчик он был превосходный, и дело не только в том, что он знал европейские языки в совершенстве, — он открывал литературу, он угадывал и чувствовал, как мало кому это дано.

От Стенича мы впервые услышали терпкие для нас, неведомые имена Джойса, Дос-Пассоса, Хемингуея. Он дружил с Брехтом, он лично знал многих писателей Запада, приезжавших в Ленинград. В осенние дни 36-го года он прибежал к нам с сенсацией: приехал Андре Жид. Он тут же окрестил его Андрюшкой Жидом, успел встретиться с ним пару раз и рассказать кое-что, в частности о "льюбянке", привлекшей особое внимание писателя. Андре Жид очень интересовался социалистическим реализмом и формализмом. Он пытался это понять. Стенич не дожил до книги Андре Жида "Возвращение из России", до его с такой точностью отобранных слов, перечитанных мною уже здесь: "Рабочие считают себя счастливыми. Их счастье основано на надежде, отчаяньи, вере и неведеньи". Если б дожил, должно быть услышал бы в них отголосок своих бесед с хитроумным французом.

Об аресте Мити Валя узнал в Москве. Был конец мая, самое питерское время, когда ночи становятся поэмой, а днем холодное солнце, и

город пропах корюшкой, особым запахом свежей реки и свежих огурцов, когда с Кузнечного рынка, что рядом с нами, тащишь огромную, не в обхват, охапку черемухи, и еще не пошла Ладога, не двинулся лед, и тепло, и пока жить бы и жить. Утром, не заезжая домой, прямо с вокзала, Валя примчался ко мне. Уже не к нам с Митей, а ко мне. Мы уже жили тогда на Разъезжей у мамы, рядом с улицей Достоевского. Дом был достоин его процентщицы. В тесных клетушках нашей квартиры должно быть обитала некогда та самая нищета, квартировалась у какой-нибудь немки за три рубля в месяц с самоваром и чаем, о которой мы знаем благодаря его ранним романам. Две наших комнатенки, моя и митина, были опечатаны, как положено, красным сургучом. Мне оставили только обиталище нашей маленькой дочки с крошечной плетеной кроваткой и игрушками, – затрепанными, с выдранной паклей, куклами, – Стенич тут же окрестил их старыми проститутками, – и еще с детским креслицем с дыркой посередине. Валя неуклюже топтался, сесть в детской негде, не на что, и глядя на меня помутневшими, подслеповатыми глазами, с непривычной для него растерянностью, сказал: "Я вас не оставлю. Я научу вас переводить. Вы не пропадете..." Чем мог он со мной поделиться, чем еще помочь?!

У него был роман с Шурой Дикой, роман в письмах, совсем как в галантный век фижм и кринолинов. Где эти письма? Он исписывал тонны бумаги, значит было о чем писать, и перо

шло легко и свободно. Она жила в Москве, была замужем. Он дружил и с ее мужем, Алексеем Денисовичем Диким, знаменитым режиссером и актером, – в МХАТе-втором гремела его замятинская "Блоха" в декорациях Кустодиева. И Дикого замешали в какое-то дело, и он отсидел свое, но каким-то чудом выкарабкался. А Валя с Шурой пришли ко мне осенью того же тридцать седьмого, это было уже в Москве. Мы не знали о чем говорить. Все было и больно, и страшно. И буквально через несколько дней после этой натянутой и такой нерадостной встречи, его арестовали. Не стало и Стенича...

Теперь моя жизнь – сплошные эпилоги. И один из них – Нью-Йорк. Из Чикаго мы перетащились в Нью-Йорк, Нью-Йорк, как и Париж, был для меня в Москве литературным понятием, пусть так, но он не был и совсем чужим. Благодаря Стеничу.

Мой внук Митя был в школе, когда мы узнали, что нам разрешают выезд. Он вернулся, как всегда, лохматый, взъерошенный, мальчишка из московского двора, привычно швырнул на пол портфель. Еще мы жили инерцией, стереотипами того нашего существования. "Митя, мы увидим Нью-Йорк!". Естественнее было бы просто сказать: "есть разрешение". Но нет, именно так патетически: "Мы увидим Нью-Йорк!" Этот город был для меня живым. И он представлялся мне прекрасным, пусть с черными провалами, пусть заплеванный, со всеми своими Ист-сайдами и Гарлемами, пусть

грязный и опасный, но грандиозный и великий.

Стенич переводил Дос-Пассоса и приходил к нам весь пропитанный его ”Сорок второй параллелью”, душой, вкусами, запахами послевоенной Америки, неуловимой для нас и уклончивой. Он посвящал нас в новый для тех времен творческий метод писателя, соединявшего свои просто и легко написанные главы с ”хроникой”, ”кино-глазом”, со сложными, иногда неподдающимися расшифровке абзацами, написанными торопливо, обрывисто, без знаков препинания, набегающими друг на друга оборванными фразами, словно он боялся упустить из этого своего ”потока сознания” малейшую крупицу. Хроника поколения, названного Гертрудой Стайн ”потерянным”, для Дос-Пассоса, для этого замечательного и полузабытого сейчас писателя, была чем-то большим, чем хроникой жизни его ”маленького человека”, – это сближало его с Чаплиным, – она становилась эпосом, когда в его поэтичных, сбивчивых, грустных и таких личностных, таких субъективных ”хрониках”, раскрывалась панорама политической, социальной, психологической жизни мира. Валя учил нас понимать эту литературу.

Как-то он явился к нам ”на бровях”. Потом это сочиненное им ”на бровях” стало очень популярно, но никто уже не помнил, что это Стенич. Он был пьян, что с ним случалось совсем не часто, но тут он ”омывал” событие. Он притащил нам свежий, тугой, вкусно пахнущий

экземпляр своего очередного Дос-Пассоса, на этот раз это был "1919-ый год", последний из переведенных им романов. Кто-то по-немногу стащил у нас все эти книжки, всего Дос-Пассоса. И из библиотек они тоже постепенно исчезли. Естественно, Дос-Пассос отмежевался от коммунизма, который ему усердно навязывали. "Я только старомодный почитатель свободы, равенства и братства", – эту его декларацию я прочитала уже здесь, в Америке. А на карте нашла цифру "42" рядом с параллелью, разрезающей Нью-Йорк. И вот он, один из моих эпилогов. Жарким днем я шла по субтропическому Нью-Йорку, по этой сорок второй параллели, и Манхаттен, его пестрые, сумасбродные, достающие до неба улицы были улицами моей молодости, когда первый из романов Дос-Пассоса, переведенных Валей, "Манхаттен", лежал у нас на столе.

Академик

Митины институтские товарищи у нас не прижились. Там, за пределами нашей улицы Марата, был свой мир, мир честолюбий, чисток, зачетов. Оттуда, особенно с партсобраний, Митя приходил хмурый. Чаще других звучало у нас имя "Женька". По странному совпадению этот митин сокурсник тоже был Жуков, Женька Жуков. Он был из интеллигентной семьи, – папа директор средней школы, педагог. У Женьки было красивое, точеное лицо, и весь он был рафинированный и тонкий. С ним и его женой

Идой мы общались, встречались на институтских вечерах, забегали друг к другу, иногда ходили вместе в кино. Это не было глубокой дружбой, но это были все-таки отношения, студенческая общность и близость. Оба Жукова, такие разные, ни в чем не совпадающие, считались на курсе самыми способными и обещающими, оба всерьез занимались наукой, мучительно трудной японской письменностью, экзотической историей этой самурайской страны. Оба кончили Институт в один и тот же год, вместе поступили в аспирантуру, сначала институтскую, потом Академии наук, где их приметил и определил к себе в ученики только что избранный академиком Бухарин. Николай Иванович был очень маленький, очень живой, с маленькими светлыми глазками. Митя ему нравился, он часто звонил ему, и они подолгу разговаривали. Но "правый уклон", – от этого мой Жуков был далек, хотя сейчас мне кажется бухаринский призыв к крестьянам: "обогащайтесь" самым радикальным из всего того, что придумывали большевики. Бухарин был весь напичкан латинскими изречениями, он вообще любил цитировать, острить и смеяться. Когда он был редактором "Известий", газета оживилась и при нем был напечатан весьма острый и злой фельетон Ильфа и Петрова "Клооп". Как давно это было, а в "Клоопе" уже был образ бюрократической бессмыслицы и полной неразберихи, и всего этого абсурда, именуемого советской действительностью.

Дороги Жуковых разошлись. В тридцать седьмом Евгений оказался в Женеве, куда его

завез в качестве референта Молотов. Женева подарила ему жизнь. Она не только укрыла его от "рева событий", – он стал делать головокружительную карьеру, был в одно время директором Тихоокеанского Института (ныне Института Америки, где хозяйничает небезызвестный Арбатов), он печатался, его имя звучало, его избрали академиком. В хрущевские времена, когда мне понадобилось оформить какие-то бумаги, связанные с посмертной реабилитацией моего мужа, мне пришлось обратиться за помощью к академику Жукову, тому самому, что был для нас когда-то "Женькой". Я волновалась, как все это будет, эта встреча. Пришлось пройти через все формальности, я записалась к нему на прием, довольно долго и терпеливо ждала в предбаннике, и, наконец, была допущена секретаршей в кабинет. Бог мой! Неужели этот красномордый плебей, – неужели это и есть тот утонченный "Женька"?! Физиономия управдома с колючими глазками. Он не предложил мне сесть. Когда я упомянула имя Дмитрия Жукова, он кивнул: "помню", как будто речь шла о ком-то, кого он когда-то встретил невзначай, мельком. Это "помню" прозвучало и небрежно, и нетерпеливо. "Подпись? Пожалуйста!" Вся процедура заняла пол минуты. "Печать у секретаря". Я вышла из кабинета в коридор, престижный академический коридор, и уткнулась в стенку, не в силах двинуться. И долго я так стояла, совершенно тупо и бесцельно. Он даже не спросил меня ни о чем...

Почему Митя пошел в Восточный Институт? Что его привлекло, что поманило? Эта страна-миф с ее загадками, стыком жестокого и совершенно театрального феодализма и фантасмагорического прогресса? Самого по себе этого вполне достаточно. Но в этом выборе было, быть может, и нечто другое, спрятанное, утаенное от самого себя. Мы жили в наглухо заколоченной клетке, не очень-то отдавая себе отчет в том, что можно жить по-другому, без клетки. За глухим частоколом не видать очертаний вселенной, и этот Восточный Институт, должно быть, будил в молодом парне смутные надежды испытать что-то новое, увидеть новые краски, услышать новые звуки. И вот как все обернулось! Японский шпион! Евгению Жукову повезло. Случай сохранил ему единственную истинную ценность на этой планете – жизнь. Жаль только, что эту жизнь от отдал эфемерности, карьере, а в себе не досчитался такой малости, – человека...

Турне. Малая Вишера

К концу третьего курса Митя уехал на практику в Японию. До этого мы не расставались, жили по-студенчески скудно, но как-то крутились. Одной было трудней, а тут представилась возможность заработать с концертной бригадой "на марках". Это была старая, еще дореволюционная практика, эти "марки". Смысл был в том, что каждому, соответственно его квалификации,

определялось количество марок, и по этому количеству платились деньги. Я была аккомпаниатором, и я была всем нужна, и мне назначили много марок. Все это было, конечно, "лавочкой", но я была неофитом и поверила во всю эту мелкую авантюру. Путешествие было из Ленинграда в Москву, значит почти как у Радищева. Бригаду я рассмотрела только в вагоне. Белесый тип в пенсне представился мне как "оригинальный куплетист". Я еще на перроне заметила, как нежно расставался он с женой. Но как только поезд тронулся и с нами еще были вокзальные огни, я увидела его вьющимся около нашей балетной звезды. Она была тоненькая, очень хорошенькая девочка, только что окончившая балетное училище. Рядом с этой сильфидой ее партнер, рыжий, коренастый, веснусчатый Толя выглядел чистым портовым работягой. И еще с нами был душка-тенор, немолодой усталый человек, все время кутавший свое драгоценное горло в широкий "артистический" шарф. Вот и вся бригада, полный комплект. Невеселые это были дни, эти "мои университеты", хоть были и хорошие минуты. Особенно в Малой Вишере . Тут мы столкнулись с другой бригадой, и я глазам своим не поверила, когда увидела великую "тетю Катю", гордость Александринки, маститую, уже очень немолодую Корчагину-Александровскую. Ей-то зачем было халтурить в этой дыре?! Мы жили в совершенно ужасных "Домах колхозника", ночью бегали далеко "до ветру", спали вповалку, — всегда не хватало кроватей, — да иной

раз еще выкраивали местечко какому-нибудь дяде в вонючем тулупе из дальнего сельского района. И когда не спалось, Екатерина Павловна говорила мне, что боится публики, и особенно "новой", этих смазанных поездной копотью парней...

А все-таки в Малой Вишере было хорошо. На привокзальных клумбах цвели астры, и гастроли нашей высокохудожественной труппы проходили с успехом. Но тут с нами случилось несчастье. Наш душка-тенор, посетивший то самое место, где сидят орлом, и о котором Валя Стенич нелестно отзывался, взгромоздившись на высокий, деревянный, видимо здорово подгнивший от постоянной сырости помост, вдруг провалился в зловещую яму. Сбежалось пол города, его выволакивали с шумом, гамом и восторгом. Потом его долго отмывали, парили, чистили в местной бане, специально затопленной по такому экстренному поводу, и к вечеру он "оклемался", как теперь говорят, и в белой манишке, при фраке пел свое "О, не буди меня, дыхание весны". Зал узнал героя дня и встретил его бурным, радостным ржаньем.

Увы, мои надежды на крупные заработки, не оправдались. Мы добрались до Бологого, – ровно полпути между Ленинградом и Москвой, – дела пошли хуже, и не на что было возвращаться домой. Мы прогорели, и я узнала горький вкус непонятости.

Улица Росси

Мы расставались с Митей надолго. Может быть, на год. Наши отношения были совсем непростыми и нелегкими, и жизнь была непростая и нелегкая. У него был характер с частыми перепадами, то взрывы, то непонятное отчуждение, то слезы раскаяния. Иногда он запирал мое пальто и галоши (еще были галоши! ”Треугольник”!) в шкаф и прятал ключ в карман, чтобы я не могла уйти из дому, чтоб сидела около него, когда он работал. Он писал правой рукой, а левой держал мою, чтоб я не сбежала. Он бывал трогателен до слез. А иногда замолчит, и не знаешь, как быть, и тоже молчишь. И все-таки мы были необыкновенно близки. Каждый день перед сном мы уходили в ночь, на улицу Росси. По обеим ее сторонам – гениальные здания, а в них вписано небо. Для него это было как в церкви, брести по этой, казалось бы, обычной питерской улочке, два шага, — и Невский. И не только потому, что с творением итальянца Росси связано русское романтическое искусство танца, и отсюда, из подъездов, уже чуть ли не два века назад выскакивали юные балерины, и кареты отвозили их танцевать в театр, а за каретами неслись молодые влюбленные балетоманы, и не только потому что и сейчас здесь лучшее балетное училище в мире, а потому что сама архитектура здесь музыка. Мы молча брели, мы слушали эту красоту, а потом, вкругаля, через Невский, уже пустеющий,

возвращались к себе на Марата. Марина говорила, что завидует мне, что у них с Колей не так как у нас, и что она даже устроила ему как-то "выревку", но прагматик Коля, чем он мог ей помочь?!

Отъезд

Давно уже Митя не говорил о мировой революции, все перепуталось с этими левыми и правыми уклонами, хитроумные интриги партийной борьбы занимали его все меньше, он втягивался в науку, и он любил стихи и музыку. Никто не открывал ему Мандельштама, он сам нашел его, и эти его строчки: "Только детские книжки читать..."

Незадолго до отъезда в Японию он подружился с молодыми поэтами Юликом Березиным и Вольфом Эрлихом.

Оба они были маленького росточка, оба жили только стихами, оба никому ничего плохого не сделали. А у Эрлиха, у того было особое обаяние. У него были совершенно детски-круглые глаза, и в этой детскости было столько грусти! Он был последним прибежищем, последним другом Есенина. И эти прощальные его строчки: "До свиданья, друг мой, до свиданья...", нацарапанные кровью, адресованы Волику Эрлиху. Чудом сохранилась у меня его поэма "Софья Перовская", и милый его автограф. Оба они, и Юлий Березин, и Вольф Эрлих, погибли в 37-м, а пока что у всех у них было впереди

еще десять лет. Только десять. Мите было двадцать два года, когда он уехал в Токио. Не помню проводов, прощания, помню только, что это было в середине мая...

Япония

Редактор докладов, отношений и предписаний, скромный чиновник в форменном фраке, русский писатель Иван Александрович Гончаров, не скрывал своего испуга, когда фрегат "Паллада" приближался к берегам загадочных островов. Безвестный студент Дмитрий Жуков держал путь в многомиллионный Токио, одну из величайших столиц мира, где его ждали книжные фонды университетских библиотек, молнии подземок и надземок, сверкающая Гинза-дори, главная улица японской столицы, с ее вечной проблемой пробок и ярким светом, словно заткавшим всю улицу, все ее дома до последнего этажа, своей причудливой игрой. В сущности, срок, отделявший эту студенческую командировку от "вояжа" Гончарова, был не столь уж велик. Но для Гончарова японцы – полудикари, и писатель признавался, что входил в порт Нагасаки "с тяжелым чувством, с каким входят в тюрьму". "Фрегат Палладу" мы проходили в школе, и до чего же это было мне тогда неинтересно, и с каким любопытством перечитываю я эту книгу сейчас, вспоминая "мою" Японию. Для моего поколения Япония не была уже закрытой страной, и мы увидели ее в ошеломляющем сплаве ее древней цивилизации

с культурой всех стран и континентов мира. Восприимчивость японцев к новому воистину гениальна. Медицине они поначалу учились в Германии, технике у Америки, Россия после 1905-го года слала им свое гуманитарное мышление, свою великую литературу. Молодой император, биолог по образованию, готовился в те дни к защите кандидатской...

Тысяча девятьсот двадцать седьмой год был знаменательным годом. Булгаков написал свое "Собачье сердце": незадачливый Пигмалион вывел в колбах новый тип человека с собачьим сердцем. Это злая и прозорливая книга о хамстве и плебействе "нового мира". И мы читаем ее теперь с удивлением – как точно все угадано! В двадцать седьмом году на пятнадцатом съезде исключили из партии Троцкого. Его теория "перманентной революции" для Сталина была "меньшевистской ересью", и от одного слова "троцкизм" веяло ужасом. Как хорошо, что Митя уехал, а то приклеили бы ему эту "перманентную революцию", чего доброго...

Примитивисты

Теперь я вполне самостоятельна, и у меня появилась работа. Два раза в неделю я ездила в Институт Народов Севера, в Александро-Невскую лавру. В пустынном монастырском убежище учились грамоте, ели и спали кочевники из тайги, охотники и рыболовы, – среди

них и шаманы. Советская власть приучала их к оседлости и послушанию. Это было очень интересно, общаться с этими скуластыми, раскосыми лесными бродягами, слушать их песни, смотреть их диковинные пляски под громадные самодельные бубны. Они входили в экстаз, прыгали, бесновались и что-то при этом выкрикивали воющими, высокими голосами. Это и было моей обязанностью, как младшего научного сотрудника этого странного "Института", записывать этот фольклор, постигать душу застрявших в дебрях сибирских чащоб, этих осколков скифов. Они были по-своему умны, хитры и одарены в живописи и скульптуре. Тайга у них выглядела раем земным, – у меня долго жил рисунок, на котором два оленя, как Адам и Ева, нежились у прозрачной реки, а вокруг – гармония зеленокудрой рощи, и ясное спокойное небо. Эти рисунки, скульптурные олени и божки пользовались большим успехом на парижской выставке. Они были "примитивисты", не имея ни малейшего понятия о французе Руссо, о направлениях и школах живописи. Потом "Институт" закрыли, а мои "дикари" научились рисовать как Лактионов и постигли науку соцреализма...

Занятия были вечерние. Храбро миновав Лавру, я пересекала кладбище, возвращаясь одна домой, и каждый раз, дойдя до литературных мостков, хоть на секунду задерживалась у могилы Достоевского. Здесь всегда лежали свежие розы, две красных розы. Они словно росли здесь вечно, и я почему-то их боялась.

Но вот уже и огоньки трамваев, а там, по нашему Староневскому, – и домой...

Бруклинский мост – это вещь!

Я пошла на вечер Маяковского. Это все тот же двадцать седьмой год. У входа в Дом Печати толкутся люди, много знакомых, много поэтов. Стою в холодном, грязноватом вестибюле и жду, может кто вынесет "билетик". И тут толпа зашевелилась, и я услышала довольно злобный шип Волика Эрлиха: "Хозяин явился". По лестнице размашистыми шагами поднимался Маяковский. Он шагал не оглядываясь, ни с кем не здороваясь, в своем сером полушубке с заячьим воротником, демонстративно игнорируя любопытство "толпы". Может быть, оно казалось ему недобрым, это любопытство, может он волновался, – впервые по возвращении из Соединенных Штатов Америки он должен был читать в Ленинграде свою новую поэму "Хорошо".

Фойе Дома Печати было расписано Филоновым. Тогда только что отшумело "чубаровское дело": в пересекающем мрачную, кишащую проститутками Лиговку, в Чубаровом переулке группа хулиганов изнасиловала девушку. Теперь нам не привыкать-стать к такого рода сексуальным развлечениям подрастающего поколения. Но тогда это было громкое, встревожившее весь город дело. То ли в назидание, в воспитательных целях, то ли из каких-то высших

соображений, но именно этот эпизод был со всеми подробностями изображен во всю стену, против входа в зал. Странный художник, Филонов! Он как-то сумел совместить в себе поиски нового в прелестных своих абстрактных вещах с тематикой "петроградского пролетариата", с грубым натурализмом и унылым правдоподобием. Авангард и будущий "соцреализм". Филоновская фреска изображала жертву в самой неприглядной позе с задранной юбкой и окровавленными ногами. Было тут и филоновское сечение образа на отдельные пластические элементы, был и цвет, и все-таки это было неприятно и грубо. Филонов был всюду, в коридорах, на сценическом заднике, в фойе.

Только на сцене было что-то рабоче-крестьянское, "жизнеутверждающее".

Нет смысла вспоминать, как читал Маяковский, "глашатай", "трибун" и попросту эстрадник. Об этом написано много и по-разному. Зал слушал его громовые раскаты: "... И жизнь хороша, и жить хорошо". Сейчас все это стало грустным трюизмом, – кто не хихикает над "розовыми лицами" "моей" милиции и двумя морковинами "за зеленый хвостик", над всей этой вранливой умильностью. Тем более, что прошло более полувека, а люди все еще стоят в томительных очередях за этим "зеленым хвостиком"!

К слову, о поэтах-эстрадниках. Незадолго до отъезда Анны Андреевны Ахматовой в Италию, где ее ждали почести, я пришла к ней в дом покойного поэта Шенгели. Она сидела за

его рабочим столом в его маленьком кабинете и водила карандашом по бумаге машинально, о чем-то думая. Потом мы говорили о том, о сем, и она вдруг рассказала мне маленькую свою новелку про знакомство с Беллой Ахмадулиной. Ахмадулина как-то по-своему интерпретирует этот смешной эпизод, — я могу повторить только слово в слово то, что слышала от Ахматовой.

Белла Ахмадулина позвонила и предложила Анне Андреевне покатать ее в своей новой машине. "Отчего же? С удовольствием!" К концу жизни Ахматова стала грузна, малоподвижна, и спуститься с лестницы было целой эпопеей. Белла любовно и бережно вела ее к машине. "Сели. Поехали. Проехали один квартал, и машина стала. По-моему, навсегда", — эпически, ни разу не улыбнувшись, с изящной издевкой рассказывала Анна Андреевна. И тогда я спросила ее о Евтушенко, был ли он у нее. С чуть наигранным удивлением Ахматова ответила: "Евтушенко? Но русские поэты никогда не были эстрадниками". Ответ несколько уклончивый, но по смыслу своему беспощадный. Тут Ахматова была максималисткой. Именно потому, что звание поэта было для нее священно, она была максималисткой. Люди, чувствующие, мыслящие стихами, были для нее "Божьи люди", для которых ее дом всегда был открыт. Собственно, не дом, у нее самой-то давно уже не было своего "дома", открыта для них была она сама, ее душа. В Ташкенте приплелась к ней Ксения Некрасова, маленькая,

худенькая, в чем только душа держится, и как Анна Андреевна трепетно обхаживала эту бродяжку-поэта! Ей всегда были интересны люди поэтического цеха, только бы они были способны на "священные жертвы Аполлону"...

Как она горевала, как воевала, как воинственно схватилась за телефонную трубку и обзванивала долго и терпеливо всех, кто только чем-нибудь мог быть полезен (еще живы были и Корней Иванович и Маршак), когда несчастья обрушились на Иосифа Бродского, тогда еще не того прославленного, сегодняшнего, а мальчишку, для нее уже большого поэта, названного неучами и громилами "тунеядцем". Я рассказываю об этом не с чужого голоса, я была при этом...

Интересно, когда она говорила о поэтах-эстрадниках, почему она не вспомнила о Маяковском. Нарочно не вспомнила?!

К концу вечера в Доме Печати Маяковский отвечал на записки. Делал он это лихо, без запинки, ошеломляя мгновенностью реакции и точностью ответа, в котором всегда было что-то от каламбура или парадокса, не давая залу опомниться от этих безошибочных отстрелов. Его попросили в двух словах рассказать об Америке. "Олл райт", – выпалил Маяковский, и зал разразился овацией, хотя он всячески заверял своей поэмой, что "олл райт" у нас, а не у них. "Как вы относитесь к живописи Филонова". "Рад, что она за моей спиной", – и он махнул в сторону задника. Как же так? Почему это он так о своем соратнике? *Такой* Филонов ему не нравился...

Он развернул еще одну записку. И вдруг затрясся, как в падучей, заорал. Он рычал, бесновался: "Закройте двери. Я выведу на чистую воду этого мерзавца, никого не выпускать..." и все в таком роде. То, что он прочитал, было действительно ужасно: "Ты скажи мне, гадина, сколько тебе дадено". Его публично назвали продажным и "гадиной". И он метался по сцене, – куда делось остроумие, – он угрожал, и угрозы эти были беспомощны и бессильны, хотя кто-то с перепугу и бросился закрывать двери, как будто и вправду можно было поймать "этого мерзавца".

Он растерялся. Официально – "лучший поэт эпохи" , – он был беззащитен перед этим судом. Суд был жестоким. Он не продавался, не в тридцати серебренниках было дело, – он обманулся, захлебнулся в этом обмане, он "убывал". Его подкалывали и справа, и слева. Тут – "хозяин", там – непонятый комсомолией формалист. "Все сто томов партийных книжек" не были защитой. И уже усталость и обида звучали в этом:

"Я хочу быть понят своей страной,
А не буду понят – что ж!
По своей стране пройду стороной,
Как проходит косой дождь".

В конце концов он пришел к этому "что ж"! Слишком все это больно, чтоб получить "гадину", незаслуженно все это! Маяковский, – он ведь тоже "жертва века"...

В середине пятидесятых годов Волгоградский театр поставил пьесу "Владимир Маяковский". Это была жвачка, "перепертые стенограммы", как сказал бы Валя Стенич, плохой отчет, расписанный по ролям. Кажется, Алексей Дикий сказал, что можно на сцене поставить и телефонную книжку. Это и была "телефонная книжка", – ни мысли, ни характеров. Сам по себе конфликт Маяковского со своим временем – трагедия. Но стенограмма, из которой кроились эпизоды и реплики, отражала ложь, и автор (стоит ли называть его имя), подчинился этой лжи. Так что спектакль был уныл какой-то особой унылой вранливостью. По сцене ходил загримированный под Маяковского народный артист Синицын, человек, за это можно поручиться, не прочитавший в жизни ни одной книжки, и ни одного стихотворения, разве что "чижик-пыжик, где ты был..." На Маяковского он был похож только ростом, голос – высокий, тонкий, так что "рокотать" не удавалось. "Бунтарь и глашатай" не получился. На спектакль прибыла из Москвы "Людмилка", та самая любимая сестра поэта, которой он гордился как помощницей в его "революционном подполье". Театральный зал был накален. Отстроенный после войны со столичной пышностью, театр являл собой в тот вечер премьерную помпу с охамевшими, озверевшими администраторами, толкотней, суетой и особым премьерным гулом. Партийные боссы всех рангов и степеней, их жены с башнями на голове, забросали все служебные кабинеты своими пыжиковыми шапками

и норками. Теперь эти боссы со своими первыми дамами области, толстыми и важными, пузырились в ложах. За сценой дежурили роскошные корзины цветов. Ждали "самого", – первого секретаря. После спектакля на авансцене появилась "Людмилка" и как лозунги стала кидать в публику – "замечательный спектакль", "мой великий брат", "я словно побыла с Володей". Культ фарисейства, тщеславие, реклама и самореклама, – все это взвинтило людей и "Людмилка" ушла со сцены под "бурные, продолжительные аплодисменты".

Мы потом встретились с ней в театральном туалете. И здесь все было с шиком! Горячая вода в умывальниках, воздушные сушилки, – все-таки Сталинград, бывают иностранцы! Она не сомневалась, что я в восторге, я обязана была быть в восторге. Теперь, когда его не стало, он перестал быть "формалистом", – его прославляли. И все, что с ним связано, тоже прославляли, и я, разумеется, обязана была воспеть это бездарное зрелище. "Людмилка" радостно бросилась к критику, который "осветит". Я перевела разговор на другое. В этом экзотическом для деловой беседы месте, в этом туалете с горячей водой, я вспомнила о том вечере 27-го года. Она ничего этого не знала, хоть и заведовала музеем Маяковского. Она стала нервно записывать. Может, пригодится в воспоминаниях о "любимом Володе". Дамы вертелись, пудрились, прихорашивались у зеркал, урчала вода в унитазах, а сестра Владимира Владимировича Маяковского на подоконнике

записывала. Не я у нее брала интервью, а она у меня... В туалете...

Тогда, с того вечера в Доме Печати, возвращалась я сбитая с толку. "Облако в штанах", или "Лошадь, слушайте – чего вы думаете, что вы их плоше, все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь", – разве это мог написать "гадина"? Ну, а как же с этими "розовыми лицами"? Все у меня путалось, я еще не знала тогда, что людей можно ломать, и поэтов тоже...

Пролог Драмы

Я получила письмо из Токио. Он влюбился, мучается, "раздваивается". Письмо как артобстрел без объявления войны. До сих пор я не позволяла себе предаваться меланхолии, я терпеливо ждала. И совершенно неожиданно эти знакомые бисеринки, этот готический почерк, от которого все у меня поплыло перед глазами. Он влюбился и писал об этом в стиле Алеши из "Униженных и оскорбленных", дескать любовь и тут, и там. Я была совершенно одна. С мамой я делиться не могла, ей и без меня было несладко. Марина? Лучшая подруга? Она бы, конечно, сочувствовала, целый день трещал бы телефон, для "концепций" поле было широчайшее. Мы с ней по-прежнему считали себя близкими людьми, день за днем проходил в бесконечных телефонных пересудах новостей

дня, хозяйственных дел и обсуждениях и осуждениях близких. У нее уже была двухлетняя Татка, Коля печатался, словом, было, о чем потолковать. Но сказать ей *это*! Дать повод для торжества, пусть скрытого, тайного, но торжества, о, нет, этого не будет!

Я поняла, что это та самая Женя, которую я приметила уже на первом институтском вечере у Мити. Застрял у меня в башке и живет как осколок после ранения этот кадр: я аккомпанирую на этом вечере скрипачу Володе Ярмагаеву и краешком глаза вижу, как Митя протягивает этой красивой девице большую карамель в яркой бумажке. Я могла бы ее нарисовать, эту конфету, так ясно стоит она у меня и сегодня перед глазами. Потом я его искала, вечер был в разгаре, мы с Ярмагаевым выступили из чистого энтузиазма, а он исчез... Оказывается, они с Женей ездили за Зощенко. Зощенко должен был выступать на этом октябрьском торжестве. Ярмагаев куда-то названивал и вдруг предложил мне поехать с ним подхалтурить в какой-то клуб на Петроградской. Мне было все равно. Уже лежал ровный снег, бывает такой ранний снег в Питере, – потом он сходит и снова месишь грязь.

Только бы уйти... Тогда рабочие клубы еще не выглядели так помпезно, как сейчас, эти громадные и нелепые "Дворцы Культуры" с коврами и амфитеатрами, с полотнами в золотых рамах, – Ленин говорит с протянутой дланью в Смольном с матросами и солдатами. В том клубе стоял настоящий содом и гоморра. За

кулисами бестолково толклись "артисты", вроде тех, с которыми я подвизалась в Малой Вишере, всякий сброд в атласных шароварах с балалайками, фокусники в лоснящихся фраках, с лицами, не успевшими остыть от недавних возлияний, дрожащие девицы в пачках, с гладкими головками а-ля Тальони. Пахло потом, пудрой, пивом. На ходу меня представили Валентинову. О, это была знаменитость, я даже оробела. Пузатый опереточный комик, автор "Жрицы огня" и еще какой-то нашумевшей дребедени. Мы отыграли наши номера, зал, видимо, уже здорово набравшийся по поводу десятилетия великого октября, колобродил, гудел, хлопал дверьми, неслись пьяные выкрики. Ликование усугублялось густым водочным перегаром, выползавшим из зрительного зала на сцену.

Толстый коротконожка Валентинов предложил отвезти меня домой. Я до сих пор не понимаю, что произошло! Мы лихо катили в санях, совсем как у Блока, "легко заправив медвежью полость на ходу", как вдруг мой знаменитый и галантный любимец публики закричал не своим голосом: "Остановите сани". И при этом он колотил возницу кулаками в спину. Извозчик притормозил. "Прыгайте, да сходите же", — вопил комик. Может объелся?! Я вылезла, кругом пустынное, заснеженное Марсово поле, — сани с опереточной звездой унеслись... Что делать? Было чаосв около четырех ночи, и я плелась по совершенно вымершему городу, отгулявшему свой великий праздник и теперь спавшему глубоким зимним сном.

Около Инженерного замка мне стало страшно. Я всегда боялась этого окна, – здесь одиннадцатого марта бился в руках гвардейцев Павел. Я видела в роли этого полусумасшедшего курносого императора знаменитого Самарина-Эльского в пьесе Мережковского, с тех пор и живет во мне страх перед этими тусклыми стеклами, вот они, кажется, вот оно, наверху, это окно... Стараюсь не смотреть в ту сторону, бегу, бегу. На Невском успокоилась. Здесь я уже дома. Мне кажется, я совсем одна в пустом, колдовском городе, вот и Фонтанка, ее "кони", а там и рукой подать. От снега пахнет корюшкой. Тишина. И неожиданно я чувствую себя счастливой. Я чувствую себя счастливой и свободной, самой собой. Конфета? Бог с ней! Это *его* дело. А я сама по себе!

Я открыла дверь нашей комнаты и увидела искаженное лицо своего мужа. Он бросился ко мне: "Скажи, что этого никогда больше не будет", он чуть не плакал, растирая мне синие руки, суетясь, – надо бы чаю, – уже счастливый, уже готовый запереть мое жалкое пальтишко, чтоб это не повторилось, чтоб я была здесь, дома, его собственность, все его имущество...

И вот он писал тепреь из Токио, что встретил здесь сокурсницу, – куда-то их "мчал авто", и вот он мучается, но все ведь прекрасно, потому что он думает и обо мне, о нашем крутом пятом этаже, об улице Росси, хоть здесь, в этой "Стране Восходящего Солнца" – все неповторимо! Я не собиралась ему отвечать, пусть как

знает! Потом села и написала ханжеское, сопливое письмо, что он свободен, и пусть не мучается. Письмо лежало до утра на столе. Конечно, – сна не было, я вскочила на рассвете, и вдруг все во мне взбунтовалось, вскипело, взбесилось. Значит, мне здесь мерзнуть, давиться одной корюшкой, ходить в пальто, с которого каждый норовит смахнуть "муку", так оно вытерлось, а он там "в авто" с хризантемами! И я написала другое письмо, уже без ханжества, что он мещанин и свинья, – бросил меня тут пропадать, а сам... Письмо это просуществовало восемь лет, больше не выдержало – рассыпалось в труху. Он носил его в боковом кармане, и никогда не забывал переложить, если менял пиджак...

В ответ я получила телеграмму. Латинским шрифтом, очень смешно, со всякими "эйч" и "уай". "Пошади". И еще какие-то слова, что без меня он умрет...

Олейников

Всякий раз, как в очередной моей командировке поезд начинал заглатывать колючую пыль степей, и вот уже плывет навстречу величавый Дон, я выскакиваю в тамбур: не прозевать бы! Успеть спрыгнуть и пробежаться по платформе, вспомнить. Когда-то это была станица, не станция, а станица, станица Каменская, где жили по древнему своему складу донские казаки. Сюда бежали они в поисках вольницы из свирепой Московии. Теперь это обычная, довольно

большая станция, асфальт перона, мутные высокие окна вокзала, зеленые буквы ”Ресторан”... А было просто село, станица...

* * *

Из станицы этой родом Коля Олейников, Николай Макарович, ”техноpук Макар Свирепый”, ”Несчастный редактор Макар”. Тот самый Олейников.

По-прежнему крутимся мы на вечеринках. Забылось это слово теперь, а ведь хорошее слово, шалое, с лирикой. Тушится все та же неизменная кислая капуста. В чаду керосинки, то гаснущей, то мрачно выбрасывающей сажу, мы топчемся в фокстроте, Пятнадцатый съезд, ”выводят” Троцкого. А у нас ”Ти фор ту”. Конец мая. Одурь белых ночей.

На очередное сборище у Коли и Марины Чуковских художник П. Соколов привел своего нового приятеля. Чуб как у Кузьмы Крючкова, этой патриотической эмблемы первой мировой войны. Глаза светлые, светлые, – совсем размытая синька. Он вертится около ”дам”, нам уже по двадцать. ”У вас неожиданные брови”, ”У вас брови как котики”, – такой комплиментщик! На нем какой-то ужасный двубортный пиджак, мешок мешком. Лицо бледное, красивое, нос с остринкой, пожалуй длинноватый нос. Он сует мне какую-то бумажку, я успеваю заметить печать. ”Дана сия сельским советом станицы Каменской Олейникову Николаю

Макаровичу в том, что он действительно является красивым". "Почему вы смеетесь, – он смотрит на меня строго, – это документ!"

Вот так и вошел в нашу жизнь Олейников, с веселой своей ересью, "неожиданными бровями", справкой с печатью и знаменитым своим тостом "за дам, строительниц социализма". Шутил он спокойно, деловито, словно открывая что-то новое, важное. И в его голубоватых глазах – ни смешинки, ни задоринки, – холодная непроницаемость.

Его вывез из Донбасса Женя Шварц. Он иногда уезжал в родные края к родителям. В донецкой "Всесоюзной Кочегарке", такая там была газета, раскопал он Олейникова. И сразу же влюбился и в эту его непроницаемость, и в демонические его смешки, в его умную ухмылку, и в талантливую, веселую его независимость, и вот, привез эту диковинку в Питер, к Самуилу Яковлевичу Маршаку. Маршак тоже влюбился, поверил, что Олейников "действительно является красивым", и взял его к себе в детгизовскую редакцию. И возник парный конферанс, – Шварц-Олейников, Олейников-Шварц. Шварц редактировал "Чиж", Олейников "Еж" – два журнала для малышей. Печатались там прекрасные писатели, Виталий Бианки, Борис Житков, Даниил Хармс-"обериут". К слову об "обериутах". Сейчас с чьей-то легкой ученой руки их называют "обэреутами". Но почему? Было так: эти "обэреуты" постоянно толклись в нашем доме, в прокуренном до тьмы логове моего брата Сережи. Как-то вхожу к ним, а мне

торжественно сообщают: мы теперь объединение, Объединение Реального Искусства, Обериуты. У меня на губах навязла строчка Шуры Веденского: ”Моя мама вся в часах”. И я спросила: ”Почему реального?” ... К этому ”реальному” искусству Олейников не имел решительно никакого отношения, он бы так смеялся, если бы знал, что неведомые ему будущие доценты назовут его ”обериутом”. А ведь называют!..

Мне не припомнить точно, когда в этой маршаковской обители появились три музы детской литературы, Тамара Габбе, Лидия Чуковская и Шурочка Любарская. Лида Чуковская, русая, розовощекая, очень юная, пошла работать к Маршаку ”вопреки”. Известно, Корней Иванович и Маршак не ладили. Но Лида верила в Маршака, и быть у него в подмастерьях она сочла для себя полезным. Шварц и Олейников сблокировались против ”мироносиц”, как называли они женскую половину редакции с ее восторженным культом Маршака. И они жили сепаратно, сами по себе. Дом Книги, где была редакция, знает каждый ленинградец.

Вы бывали ль на канале,
На Екатерининском канале,
На милом, стареньком канале,
Не бывали? Очень жаль!

Дом стоял на углу Невского и этого старенького канала, теперь канала Грибоедова. А по другую его сторону, напротив Думы, этой

чванливой питерской каланчи, примостилась неказистая пивнушка. Олейникову и Шварцу было очень удобно бегать в эту пивнушку, — она стала их постоянной резиденцией, их Монмартром. Они там торчали часами и в служебное время, там изощрялись в выдумках, сочиняли, хохотали, туда являлись к ним авторы, и тоже изощрялись, и тоже хохотали, Хармс в своей англизированной кепке, и на вид совсем деревенский Алексей Пахомов, художник, замечательно рисовавший ребят, и эрудит из эрудитов, стареющий пижон Борис Степанович Житков. Считалось, что они там работают, весь этот детгизовский Олимп. Они там работали, это так, но и потягивали пивко. Между делом.

В гостях, в салонах Олейников входил в моду своими витиеватыми, забавными стихами, и никто к ним всерьез не относился, и прежде всего, сам автор. Вдруг сочинит мадригал в честь знаменитого в ту пору хирурга Грекова, и все уже повторяют:

Молодец, профессор Греков,
Исцелитель человеков!"...

Когда он читал свои стихи, он "входил в образ": выбрасывал вперед правую руку, как высокий, вдохновенный вития. И мина у него была при этом непроницаемая. Он сам придумал такого Олейникова, как некогда компания развеселившихся поэтов Козьму Пруткова. Но он не претендовал на такие высоты. Просто из него все это сыпалось и сыпалось, все эти любовные

мадригалы и возвышенные оды, и он все еще не придавал им никакого значения, так, – смешил друзей и знакомых. В их редакции работала не то секретарем, не то заведующей редакцией красивая женщина Генриетта Давыдовна Домбровская (некоторые мемуаристы называют ее девичьей фамилией – Левитиной. Я помню ее Домбровской). Муж ее был большим гепеушником, заместителем, или просто соратником легендарного Медведя. Игнорируя "высокое положение" красавицы Груни, Олейников и Шварц с ней дружили, заигрывали и вот, появляется очередной олейниковский мадригал:

Я влюблен в Генриетту Давыдовну,
А она в меня, кажется, нет!
Ею Шварцу квитанция выдана,
Мне ж квитанции, кажется, нет!"...

Это только отрывок из "раннего Олейникова", жизнерадостного и веселого, совершенно невпопад влетевшего в наш мрачный, зловещий век. И это не была его маска, эта веселость, – просто это был его дар, – радоваться, смеяться, дерзить, шутить. Но в шутки его все чаще стала вкрадываться недобрая и невеселая ухмылка.

Он был слишком умен, чтоб не понимать, в какой век мы живем, в каком мире, и шутки его постепенно переплавлялись в сарказм, в пародию. Не в иронию, которая больше склонна к грации, к легкости, а к густому, всевидящему, всепонимающему сарказму. Пародировал он не формы, не стили и жанры, как это кажется

сегодня иным исследователям, а саму жизнь, ее суть. Но это много позже, а пока он "резвился", рождались образы его шаловливого беспутства ("Пришел я в гости, водку пил, хозяйкин сдерживая пыл", или "Икра твоя гнездится в хорошеньких ногах, под платьицем из ситца, скрываясь как монах", или "В хорошенькой головке копошатся мысли, под волосами двигаясь они кишмя кишат"). Хулигански, зло, и все-таки шутка, пока только шутка. Любовная лирика по-олейниковски.

Мы встречались в разных домах, куда люди приходили "на Олейникова", чтоб повеселиться. Хоть не так-то это уже было и весело:

Миленькая рыбка,
Жареный карась,
Где ж ваша улыбка,
Что была вчерась...

Но такова была инерция: Олейников — это забавно. Он шутил, и, может быть, не замечал, что уже шутит грустно.

Однажды мы зашли с ним в большой гастрономический магазин на Невском, где в строгом порядке на полках красовалась бутафория, — пустые консервные банки. У прилавка — громадная бочка с прокисшими, смрадными огурцами. "Дайте мне что-нибудь голубое. Мне нужны голубые еды". Он именно так произнес, с ударением на "е". В магазине не было ни красного, ни белого, ни розового, ни желтого. Ничего не было. И продавцы конфузливо жались: "Нет, голубого ничего нет!"

Из своей донской столицы Олейников ушел рано, подростком, наперекор всему, – к красным. То ли это был задор, мальчишеский бунт против суровых казачьих устоев, то ли обольстила его романтика, мечта, но воевал он в гражданскую войну против своих же, и свои же оставили ему на память исшомполованную спину. Он как-то показывал эти рубцы. Все так же ухмыляясь, обшучивая и это, – трагедию. Он-то это знал, что значит – брат на брата. Может потому что он был старше всей нашей компании, а может потому что был умнее, только я не помню его *прозревания,* он был зрелым, зрячим всегда, – когда мы еще были напичканы всякой дурью идеи. Он был дьявольски умен.

Об искусстве он говорить не любил, а если говорил, то какими-то своими словами. Ученые разглагольствования были для него, самородка, фальшивой глупой трепотней. Ни в каких университетах Олейников не учился, образовывал себя всю жизнь сам, знал уйму вещей, самых неожиданных, тайно, втихаря занимался математикой. Я как-то наткнулась на его книжной полке на тетрадь, испещеренную математическими фигурками. Он был очень недоволен. Это – его, только его. В литературе ли, в кино – он как-то удивительно умел учуивать малейшую неправду. И по-своему дать отпор этой неправде. Скажет одно только слово: "кишочки", и все ясно: грубо, натуралистично, не искусство. Эти "кишочки" стали для нас термином: фильм "Чапаев" с его декоративным

Бабочкиным – ”кишочки”, и еще многое другое – ”кишочки”. Он любил и понимал, как мало кто, живопись. Живопись, – говорил он, – должна быть красивой. Может потому так близок ему был Петр Иванович Соколов, прелестный художник. Это было совсем не то, что с Женей Шварцем. С Женей они вместе работали, спелись в шутках, в делах редакции, это была как бы фирма: Шварц-Олейников. Но Женя был ”друг мой – враг мой”.

Шварц – Олейников

Шварц не зря написал в своих воспоминаниях, что в Олейникове было что-то демоническое. Он казался ему чуть ли не гениальным, в его естественности, субъективности и проницательности. Шварцу всегда хотелось *стать* писателем, и он всегда мучился, писатель ли он. Он был интеллигент. А у Олейникова этих комплексов не было, – он жил как природа. И то, что они были такие разные, рождало невидимую простому глазу конфронтацию.

Женя был человек тонкий и не мог не чувствовать, не угадывать отношения к нему Николая Макаровича, к тому что и как он пишет, к его личности, городской и ”литературной”. Быть может, Олейникова раздражала в Шварце некая вторичность, – андерсеновские сказки, пересказанные на современный лад... Он не верил в этот шварцевский эзопов язык, в эти аллюзии. Андерсен для него оставался

Андерсеном, – при чем тут Шварц! И наглухо замолкал, когда об этом заходила речь, красноречиво замолкал. А выбалтывала все Лариса, его жена, олейниковский магнитофон, в точности выбалтывала. При этом Лариса закатывала глаза, совсем так, как это делал иногда Олейников, так же как он ухмыляясь, отрезала: "Женя, ну какой он писатель!"

Они еще не знали тогда, что шварцевский "Дракон" обойдет все сцены мира, и что он напишет "Белого волка", – я смеялась и плакала, читая, – так это талантливо, и зло, и грустно...

В жизни Шварца все было совсем не просто. Я помню как он возник в Ленинграде, – молодой актер из Ростова, худенький, живой, со смеющимися серыми глазами. И остроты – без конца! У него это было как тик, эти остроты, – я ему это сказала, но он не обиделся. У него и вправду потом было что-то вроде тика, всегда дрожали руки. Его мучила эта болезнь, и он как-то странно лечился. Не знаю, от этого тика, или от чего другого, врачи прописали ему пиво, и он дул это пиво без конца, немыслимо растолстел и заработал себе одышку и болезнь сердца. Но это уже потом...

Приехал он в Ленинград с женой, тоже актрисой, красивой армянкой Гаянэ Холодовой. Мы с моей Мариной были от нее без ума в роли какой-то Елены Лей. Запомнилась эта Елена Лей мне в черном платье, обтягивающем актрису так, что все время чувствовалась опасность: а вдруг все это лопнет. Старалась, видимо,

чтоб казаться "изячней и стройней". Они с Женей жили на Невском, на третьем дворе, в крошечной квартиренке, и мы туда порой забегали. И однажды мы с Мариной застали совершенно страшную картину. Прекрасная Елена Лей сыпала проклятья на голову Жени, она издавала дикие армянские вопли, она выла. Было от чего! Уже была у них месячная Наташа. А Женя бросил семью, тихо улизнул, даже выполнил все формальности в домоуправлении, "выписался", – мягкий, очаровательный, тонкий Женя! Он ушел к мраморной своей красавице Екатерине Ивановне, и уже никогда не было для него других женщин. Это была любовь, которую вряд ли знал Олейников, любовь до гроба...

Наташу свою он боготворил. И все цитировал ее. "Не хочешь, не хочешь", – бормочет шварцевская дочка. Ей уже лет шесть. "Что не хочу?" "Не хочешь, не хочешь, не хочешь!" "Да что не хочу, говори же!" "Не хочешь купить мне санки". И он гордится своей хитрюгой. А холодной Кате, могло ли ей это нравиться, эта влюбленность в дочь... И с того дня, как он "выписался", в жизнь его вместе с громадной, не часто случающейся любовью, вползла и драма...

Олейников Екатерину Ивановну не жаловал, да и она его. И Женя болел, толстел, старел в этом хаосе чувств...

А мне все припоминается, как худенький, подвижной Шварц конферирует на том вечере американца Клода Маккея, на котором так вознесся Корней Иванович, как изображает

мажордома в великосветском салоне. Мы с Мариной жмемся, – первый раз "в свете". А лукавый мажордом, веселый, сероглазый Евгений Шварц, возвещает: "Николай Чуковский со своим детским садом"...

Соколов – Олейников

Это было совсем другое. Одно время они жили вместе в совершенно необычном скворешнике на улице Ракова. У Петра Ивановича была здесь его мастерская, он словно привез ее с собой из Парижа, эту мансарду, так все здесь было бедно и романтично. У Олейникова были там две маленькие клетушки. Его мало интересовали земные блага и свою холостяцкую берлогу он мало чем украшал. Да и сам-то он был одет небрежно, серо, смахивал на колхозника в своих мятых рубашках без галстука, ботинки на грани катастрофы, шнурки висят. Даже когда он "разбогател", когда к концу жизни пошли деньги из Ленфильма (они со Шварцем писали сценарии для детского кино. С успехом шел фильм "Леночка и виноград" с прелестной травести Яниной Жеймо. Она потом уехала навсегда в свою Польшу), и тогда новый пиджак послушно повторял черты того старого, в котором впервые я увидела Олейникова. Такой же двубортный, неуклюжий, мешок мешком. Но чисто по-деревенски любил Олейников баню. Это были великие дни – банные! Все отступало на задний план. Баня была тогда зощенковская,

с шайками, с номерками, привязанными к ногам, увы, не финская с бассейнами и прочим "хайлайфом". Но это был кайф! Тем более, что ванны существовали тогда в квартирах только в качестве ржавеющего рудимента проклятого прошлого. Ну а в мансарде, какая там ванна, – кран с холодной водой на кухне, – вот и весь сервис!

Соколову все это не мешало быть европейцем. Умный, затаенный, насмешливый, он был для нас во многом загадкой. Его синий шевиотовый костюм от времени обрел блеск стекла, но он смотрелся "роскошно" в сочетании с безупречными галстуками и рубашками, непохожими на наш "госшвей". Он учился в Париже, но как он туда попал, – кто знает?! У него уже была биография, а глаза озорного мальчишки. Он любил выпить, "ти фор ту" и "дам, строительниц социализма". Во Франции он был женат на англичанке, было двое мальчишек. Потом вернулся в Россию, в советскую Россию, а она в свой Альбион. Говорил он об этом всем скупо, но иногда вдруг как бы невзначай вырвется у него: "Как там мои "лорды"!"... В чем-то его акварели перекликались с олейниковскими стихами. И он будто валял дурака, когда своих прехорошеньких дамочек в кудряшках превращал в коротконожек, когда в них виделась ему диспропорция мира. Все стены на его половине были увешаны этими "кудреватыми" дамочками в насмешливых кружавчиках. Они были очаровательны в цвете. Цвет был для него главным, и в искусстве, и просто в быту. Увидит

дешевую кофточку на какой-нибудь из наших "строительниц социализма", и не может успокоиться: "Какой цвет! Ведь какой цвет!"... На рынке он накупал бумажных цветов, тех самых, "мещанских", что сегодня уже и не встретишь, он компановал по-своему эти шершавые лиловые, зеленые розы, и это было красиво какой-то вызывающей, бесстыдной красотой. "Мещанство бояться мещанства", — говорил он, глядя на наше смущение, любуясь своими лиловыми лепестками. Он иллюстрировал книжку Коли Чуковского "Кук", книжку о дальних плаваниях и чудесах мира, это была полная юмора, прелестная графика. Как театрального художника его открыл Николай Смолич, тот самый, что протащил в казенный Михайловский театр (Малый Оперный) Шостаковича, Кшенека, Шенберга. Смолич был замечательным оперным режиссером, единственным в своем роде. Для него опера была музыкой, и *театром.* И вот он нашел соратника. Они успели вместе поставить "Колумба". В спектакле не было никакой "оперности", никакой вампуки, все было условно, тяжелые морские канаты, настоящие канаты, — они только подсвечивались и менялись очертания, создавалась атмосфера. Уже в семидесятых годах испытала я нечаянную радость, увидев в фойе Малого Оперного эскизы "Колумба". Вспомнили!

Олейников и Соколов — это была прекрасная комбинация. Соколов был Николаю Макаровичу ближе Шварца, и тут не объяснишь почему. Такова она химия отношений, — в разных

сочетаниях – разное. Станица Каменская и Париж. Когда к Олейникову на эту знаменитую мансарду вскарабкивались гости, его приятели-художники – Пахомов, Самохвалов, Валя Курдов, – он наваривал огромный котел мяса с луком, и под это роскошное варево водка, видно, шла хорошо. Эпикурейство Соколова было иным. Он любил хорошо накрытый стол, красивую посуду, разные, вывезенные им из Парижа, замысловатые салатики. Но "парижанина" Соколова никто так не понимал и не чувствовал, как чубатый Олейников, казак в развалочку (должно быть, от дедов, не слезавших с коней). И никто, быть может, так нежно не любил Олейникова, как лощеный французистый Петр Иванович.

Тем временем, "вьюга за форточкой выла", – это из последнего стихотворения Олейникова, – и они жили, где можно, отделываясь индульгенциями, расплачиваясь пока еще мелкой монетой за хохотки, луковые супы и бумажные розы. Но вьюга разыгрывалась. Первым исчез Петр Иванович. Только он женился, принял приглашение в новый Театр Оперы и Балета в Новосибирске, купил громадный сервис (на двадцать четыре куверта), паковался, собирался, и... исчез. И сгинул навсегда. А где-то живет его дочка, только-только народившаяся, и сыновья-"лорды"...

После этого митиного письма, где он ставил меня в известность о своих любовных делах и "раздвоении", я бреду как в гипнозе по Невскому, и вот уже издали Дума, а по другую

сторону – Дом Книги. Поднимаюсь на третий этаж. Первым заметил меня Шварц. "Кого мы видим!" – начал он было привычную игру. Видно, уже пришел час расслабиться, отдохнуть от трудов праведных. Но я усаживаюсь у стола Олейникова. Он ничего не спрашивает, поднимается и говорит: "Пойдем"... Он понимал все мгновенно: "Слезы – это хорошо, это красиво, – когда их мало", – и я стараюсь не реветь. Он ведет меня по Невскому, и мы оказываемся в кафе "Шуа Нуар", застрявшем от нэповского шика. Первый раз я в таком роскошном месте, оранжевый абажурчик на каждом столике, на стенах – изгибы обольстительных ножек в черных чулках и огромные шалые шляпы с перьями. Остатки "ренессанса", руины взлета. Пусто. Кто сюда забредет среди бела дня?! У меня – ни копейки. У Олейникова, – откуда у него могут быть деньги на это разложение? Мы пьем какую-то бурду, и я снова лью слезы. Мы сидим в этой "Черной кошке", он говорит мне что-то смешное, и я тоже начинаю смеяться. "Знаешь – что, – говорит он мне, – выходи за меня замуж, а он пусть себе..." И он назначает мне срок: в среду я должна дать ему ответ. Шутит, конечно, а может не шутит. На всякий случай я смеюсь. Он тоже смеется своими отрывистыми, кашляющими смешками. В среду встречаю его на Литейном. Мистика, что ли?! Я – с Сережей, с братом, с которым у нас с детства особая дружба. Олейников говорит ему в приказном, весьма бесцеремонном тоне: "Сережа, перейди на другую сторону". И ко

мне: ”Ну, как?” ”Коля, – говорю я, – вы – волшебник! Я уезжаю в Токио”...

Вернулись мы только через два года. В одиннадцать вечера вдруг задребезжал звонок. Мы никого не ждали, еще не успели наговориться с родными, в доме ералаш. Пришел Коля Олейников. Он, собственно, не пришел, он возник, возник из тьмы нашей страшненькой достоевской лестницы. Как ни в чем не бывало, как будто ”не прошло недели”, он шел за нами своей раскачивающейся казацкой походкой по длинному узкому коридору в нашу комнату, что рядом с кухней. А в кухне – коптилка угольной лампочки (угольные дешевле), и – силуэт махины, так ни разу и не протопленной плиты, на которой, как верные супруги, живут два закопченных, не поддающихся чистке примуса. Коля принес поллитра, и сразу шок от того, что мы здесь, с этими примусами, и уже нет Токио, мерцающего, рдеющего, сияющего миллионами огней, великолепного, расцвеченного кимоно, звенящего сямисянами Токио, этот удар смягчен. Мы распиваем ”поллитра”, и нам уже не так страшно, что мы в этом хмуром, голом, голодном, *нашем* Питере. С тех пор мы трое прилепились друг к другу, да так, что почти не разлучались до самого того последнего срока...

За это время, что мы были в Токио, Олейников женился. Выступал как-то на Путиловце перед пионерами, там и встретил Ларису, девченку – пионервожатую. И потянуло нашего покорителя сердец к ее неведению, доверчивости,

детскости. Бывает так иной раз с тихими девочками, не знающими всех хитростей "науки страсти нежной", – они побеждают легче, чем иные искусительницы, и они настойчивее по простоте душевной. Ларисе, "Раре", как он ее называл, пришлось учиться терпению. "Макар Свирепый" был не легкий муж. Когда он принимал трапезу, никто не смел при сем священнодействии присутствовать, ни рарины родственники, ни забредшие соседи. Я думаю, в нем это было от скрытой застенчивости, от потребности в чем-то быть неприкасаемым. В нем жил бродяга и он частенько оставлял свою Рарочку одну. В круг его дружков-художников она не допускалась. И не смела задавать никаких вопросов. "Коля так брезглив", – говаривала она, – что я спокойна. Женщины его не интересуют". Она ошибалась. Женщины его очень интересовали.

Потом у них случилось горе. Маленького трехлетнего Колю Лариса увезла к матери на край света, в глухой среднеазиатский кишлак. Нина Николаевна была из бывших, и этот дикий кишлак был возмездием за генеральское ее прошлое, – ее туда сослали как "классового врага", маленькую, худенькую, испуганную. Там, в этой степной заброшенности маленький Коля заболел. Накануне вечером Николай Макарович был у нас, допоздна мы втроем резвились, потягивали винцо из бокалов с дворянскими вензелями, – попались они нам в Царском в какой-то комиссионной лавченке. А его уже ждала телеграмма, и сразу же утром он выехал. Тогда

не летали, тогда еще тащились в поездах, когда все решается минутами. Курьерский поезд не останавливался ни на одной из близких станций, и Олейников прыгнул на полном ходу этого курьерского, побежал по нескончаемому сухому полю, плутал, искал селение, где умирал его сын, и опоздал. Он не простил этого Ларисе, он всегда помнил, как она виновата...

Все это совпало с появлением моего первого ребенка. Без всякого предупреждения вдруг вваливается в нашу темную переднюю Олейников. На спине детская плетеная кроватка, кроватка его сына! Только не понадобилось это дефицитное имущество и моей первой дочке. И ее не стало. И, странное дело, что-то надломилось в наших отношениях. Словно кто-то свыше оборвал эту связь, – долго мы не перезванивались, избегали друг друга, – не могли себе простить ту кощунственную веселую ночь, когда погибал его ребенок. И теперь и нам возмездие...

Теперь он писал совсем другие стихи. Смешные, но другие. Нет более тщетной задачи, чем объяснять поэтику Олейникова учеными словами "десемантизация", "коммуникативность", "демонстративная установка на пародийность" (прямо-таки партийный документ), связь с "бахтинской теорией сочиненного слова". "Вы любите ли сыр?" – можно, конечно, писать и об этом сколько угодно диссертаций, и не уметь смеяться над чем-то неуловимым, что и есть Козьма Прутков...

И все-таки, теперь Олейников писал совсем другие стихи, смешные, но и страшные. Приходит однажды и приносит от руки написанную печатными буквами поэму: "Служитель науки". А наверху – Л.Л. Жуковой. Первую строфу он потом переделал, когда зачеркнул мое имя и заменил его именем Заболоцкого. Видно, поэма понравилась Николаю Алексеевичу, – Олейников взял, да и переписал посвящение. Он нередко проделывал такие номера, – подарит свои строчки, посвятит их кому-нибудь, а вот глядишь, они уже предназначены другому. Так вот случилось и со "Служителем науки". Взял и выбросил первые строчки, и сочинил нечто более изощренное, более изысканное. А той лирической строфы я теперь нигде не нахожу, но я ее помню:

"Я описал кузнечика, и я воспел пчелу,
Я птиц изобразил в разрезах надлежащих,
Но где мне силы взять, чтоб описать смолу
Твоих бровей, и блеск зрачков твоих
скользящих..."

Для Заболоцкого было что-то насчет "волос, на голове располагающихся". А потом шло то, что оставило об Олейникове память как о трагическом поэте. Все та же олейниковская инструментовка, то же неожиданное расположение слов, галантерейных, нормативных, разных, та же дисгармония сочетаний, и та же "демоническая" его усмешка:

"А где же, спросите вы, дамочки,
Где милые подружки,
Делившие со мною мой ночной досуг?
Телосложением напоминавшие боченочки,
кадушки,
Куда они девались вдруг?
Иных уж нет, а те далече,
Сгорели все они как свечи.
А я горю иным огнем, иным желаньем,
Ударничеством и соцсоревнованьем..."

Или бросит вдруг, как бы про себя, чтоб не очень распространяли:

"Колхозное движение, как я тебя люблю,
Испытываю жжение, но все-таки терплю."

Быть может, мы, его друзья, уж очень городские люди, до конца и не понимали, что это для него, человека земли, это "колхозное движение", эта расправа с крестьянством. В "Блохе мадам Петровой", будто обсмеивающей несчастную любовь "небольшой насекомой", мир, в котором мы жили, назван впрямую клеткой:

"Если ты посмотришь в сад,
Там почти на каждой ветке,
Невеселые силят,
Словно запертые в клетке,
Наши старые знакомые,
Небольшие насекомые..."

Лебядкинский таракан, попавший в стакан, "полный мухоедства", не предок ли он

олейниковского, в котором ”что-то есть, когда он лапкой шевелит, и усиком колышет”.

А вот, разве это ”иронические стихи”, разве не отдает это жестоким сарказмом и ужасом:

”Страшно жить на этом свете,
В нем отсутствует уют,
Воет ветер на рассвете,
Волки зайчика грызут.
Улетает птица с дуба,
Ищет мяса для детей,
Провидение же грубо
Преподносит ей червей.
Лев рычит во мраке ночи,
Кошка стонет на трубе,
Жук-буржуй, и жук-рабочий
Гибнут в классовой борьбе...”

Заболоцкий – Олейников

Есть такая версия: Олейников и Заболоцкий похожи. Мне кажется это натяжкой. И возникла она в основном после поэм Заболоцкого ”Лодейников” и ”Лодейников в саду”. Первую Заболоцкий написал в 1932-м году, вторую – в декабре 34-го. После этих стихов ничего в Олейникове не нужно ”исследовать”, все схвачено и уловлено с той мудростью, добротой и едкостью, которые даны были Заболоцкому в большей мере, чем иному из его современников-поэтов. Как он это сказл об Олейникове, как приметил: ”О, как бы он хотел быть этой

яблоней, которая стояла одна вся белая среди туманных тел"...

Был период, когда они очень тянулись друг к другу. Они жили на одной лестничной площадке, когда ленинградских писателей осчастливили надстройкой на Екатеринкинском канале. Теперь уже забылось, что до этого была "Слеза социализма", – так прозвали писатели дом на Троицкой (ныне улице Рубинштейна, в котором все было демонстративно неприемлемо для жилья: коммуна с общей кухней внизу, в подвале, для всех этажей. Дом этот кратко обозвали "слезой", и после него "надстройка" казалась раем. Хоть это и были клетки, похожие на те, в которых живут звери в зоопарке.

Как-то вышли мы с Николаем Макаровичем из его квартиры, а из дверей напротив высыпалось все семейство Заболоцкого, – Екатерина Васильевна с детворой. "Вот, не съели редиску, теперь не будете румяными", – это несся голос самого Заболоцкого. Они и шутили тогда с Олейниковым как-то похоже...

"Лодейников" – поэма о тоске и радости. В Лодейникове "живет тоска, нарушив жизни меру", вокруг него "мир, испорченный сознанием отцов, искусственный, немой и безобразный". Но эта тоска, это только наваждение. "Лодейников очнулся... и постепенно превращалось в пенье шурганье трав и тишина. Природа "пела", а "по лугу шел прекрасный Соколов..."

Вряд ли случайно, что тональность во втором стихотворении, посвященном "Лодейникову",

меняется. Декабрь тридцать четвертого, – убийство Кирова. И убийство, уничтожение тысяч и тысяч ленинградцев. Летят головы, исчезают друзья: "Лодейников прислушался. Над садом шел смутный шорох тысячи смертей. Природа, обернувшаяся адом, свои дела вершила без затей. Жук ел траву, жука клевала птица, хорек пил мозг из птичьей головы, и страшно перекошенные лица ночных существ смотрели из травы". Лодейников был "угрюм и скучен". И только Соколов "ходил со своей гитарой". И у Заболоцкого – Соколов воплощение радости, образ жизнелюбия. Его гитара, – все то же "мещанство", как и лиловые его бумажные розы. Еще не дошел до него тогда черед... Но Олейников уже прислушивался к "шороху тысячи смертей..."

Вьюга за форточкой

Олейников стал приходить к нам чуть ли не каждый день. На кухне надрывались примуса, варилась картошка. И еще был лук. Олейников любил эту крестьянскую закуску, эти сладкие, хрустящие колесики, плавающие в постном масле. Масло пахнет семечками. Вкусно! И вот теперь они с Митей тихо пили и пели. Тогда Сталин изрек свое бессмертное: "дело чести, дело славы, дело доблести и геройства". И вот они тянули эти слова под "эй, ухнем!", протяжно, умильно, уже захмелевшие, на лицах розовые пятна, размягченные: один хмыкнет,

другой ухмыльнется. "Герой...ства! Э-э-э-х!"... Когда Дмитрия Жукова увели в конце мая 37-го года, Олейникова в городе не было. Он часто ездил в Москву со своим туго набитым портфелем. "Ежа" и "Чижа" уже давно смело. И теперь этот портфель был вся его редакция. Николай Макарович делал теперь "Сверчок". Там было много картинок, больше картинок, чем текста. Среди художников – Билибин, так что неплохой был журнал. Олейников очень его любил, нянчился с ним, всюду таскал его за собой, сам что-то клеил, верстал, сочинял.

Но он был тогда не в Москве. Примерно через два месяца после ареста Мити, он вдруг позвонил: "Все остается как было. Как дружили, так и будем дружить". Струсить, – он не мог себе этого позволить! А вскоре забрали и его. Ираклий Андроников ночевал эту ночь в надстройке. Приехал по делам из Москвы и рано вышел из дому. Смотрит, идет Олейников. Он крикнул: "Коля, куда ты так рано?" И тут только заметил, что Олейников не один, что по бокам его два типа с винтовками. Должно быть, где-то за углом поджидал их "Черный ворон". Они тогда так и шныряли по городу, цинично, буднично, без всякой мимикрии, не "мясо", не "молоко", появившиеся позже, а просто деловые, черные, быстрые машины, доставляющие человеческие души прямо по назначению, в ад.

Николай Макарович оглянулся. Ухмыльнулся. И все!

Ларису погнали с годовалым сыном и совсем усохшей бывшей генеральшей в ссылку.

Только через четыре года, в канун войны, удалось мне до них добраться. Они жили под Стерлитамаком, у самого края реки Белой в сарайчике для дров. Иной раз про плохое жилье говорят – сарай. Это фигурально. Но тут был просто сарай. Без окон. Тюрьма. Горит копчушка. Они обили дырявые стены колючим бурым войлоком, на полу – подстилка, а на ней дорогие игрушки, какие-то розовые пароходы, остатки былого величия. Так вот и рос там Сашенька. Все в этом неправдоподобном жилище дышало памятью о веселом и невеселом человеке, который любил жизнь, людей, пылающие картинки "Ежа", и не любил "колхозное движение". Лариса говорила все теми же его словечками, и даже насмешливая складка рта была у нее олейниковская, и его хохотки, его "кишочки", все бережно было хранимо здесь, у края этой Белой...

Вскоре после того, как не стало Коли Олейникова, вдруг узнаю, что у него был последний год роман с "художницей из Харькова". Их познакомил Шура Веденский. Бог мой, а Лариса, Рара, сгребала снег с машин, – такая у нее была работа на этом гостеприимном Урале...

Через много, много лет, оказывается, так бывает не только в душещипательных романах, уже в Нью-Йорке мне по телефону сказали, что со мной хочет встретиться хорошо знавшая Олейникова "художница из Харькова". Она принесла мне карандашный набросок – знакомый чуб, знакомая ухмылка. "Похож?" И она рассказала мне, как колесили они в ту

последнюю весну по городам юга, и как это было весело, и сколько они смеялись. И вспоминала она тоже весело, будто живет в ней и сегодня тот смех, та радость.

Последние стихи Олейникова:

Однажды красавица Вера,
Одежды откинувши прочь,
Вдвоем со своим кавалером,
До слез хохотала всю ночь.
Действительно весело было,
Действительно было смешно,
А вьюга за форточкой выла,
А ветер стучался в окно.

Вьюга, этот образ, такой частый у Блока, вкрался в эти шальные строчки, как знак гибели, неотступно следовавший за Олейниковым. Он давно это знал, что "страшно жить на этом свете". И как только это в нем уживалось, это его чувство свободы, его бесшабашность, и это трагическое чувство конца? Природа для него "пела", для этого удивительного "редактора Макара", и он хотел быть "яблоней"... И я теперь часто думаю, какая это малость, эти годы и годы, отделяющие нас от того раннего утра, когда с ним молчаливо прощался на Екатерининском канале Ираклий Андроников...

Прощание с собой

Случилось мне еще в Чикаго, до переезда в Нью-Йорк, развернуть "Новое Русское Слово", и – нечаянная радость, – объявление о выходе в свет "Козлиной песни" Константина Вагинова. Воистину, "рукописи не горят". Из моих далеких двадцатых шагнула в наше безумное время эта скромная, забытая книжка, так много значившая для нас, юных, в те дни. В ней было какое-то беспокойное предчувствие, в ее спокойном, отстраненном тоне, в ее скупой, графической, лишенной эффектов манере. И она оказалась провидческой в своей теме неотвратимости гибели старой культуры.

"Козлиная песнь" вышла примерно одновременно с булгаковским "Собачьим сердцем", между 27-м и 28-м годами. Все тот же герой, новый мир, с его новым человеком, хамом, крушителем цивилизации. Ни в чем не совпадающие по стилю, по авторской манере, языку, жанровой своей природе, обе эти книги оказались едины и живы и сегодня, – они словно мостик в литературу наших дней, в печальное наше полустолетие.

И тут я вспомнила Костю Вагинова, щупленького, маленького и очень веселого. Я все еще живу одна на Марата, с паркетом и кухонным столиком, и мы по прежнему крутимся, и крутимся на вечеринках. С Костей, случалось, мы отплясывали ночи напролет все тот же фокстрот, а иногда и вальс, и он танцевал с радостной

детскостью, с чуть старомодной припрыжкой, будто пародируя старину. Он любил танцевать, наверно ему это было нужно, чтоб уйти от плохих предчувствий. У него было узенькое землистое, и все же красивое лицо, его подтачивал туберкулез.

Я очень любила его стихи, размышляющие и торжественные, я помню многие его строфы, объясняющие самого Вагинова, его расследования поэтического дела:

Да, целый год я взвешивал,
Но не понять мне моего искусства.
Уже в садах осенняя прохлада,
И дети новые друзей вокруг меня...
Испытывал я тщетно книги –
В пергаментах суровых и новые,
Со свежей типографской краской, –
В одних наитие, в других же сочетанье,
Расположение – поэзией зовется...

Об этом "расположении" он выпустил в 1931-м году книжку "Опыты соединения слов посредством ритма".

Еще до выхода "Козлиной песни", когда в литературных кругах Вагинов уже был известен как поэт, он дружил с Николаем Тихоновым. Тихонов тогда еще не был лидером, "боссом", "фигурой", он был хорошим поэтом, заразившимся лихорадкой "романтического коммунизма". Вагинов был пытлив, он тянулся к жестким поэтическим интонациям своего друга, – может быть, он искал в них опору, надежду?!

И еще одна странная дружба – Сережа Колбасьев. Тихонов, Колбасьев, Вагинов – это объединение называло себя "Островитянами". Теперь кажется невероятным, что эти трое могли быть близки. В прошлом морской офицер, подтянутый как струнка, лощеный Сережа Колбасьев писал под Станюковича. Он знал блестяще языки, что дало ему возможность подвизаться в качестве секретаря посольства у Коллонтай.

Мы ходили всей гурьбой к нему слушать заграничные пластинки, у него была уникальная фонотека, – пластинки до потолка. Его расстреляли, конечно. Должно быть, как "шпиона", а может за эту фонотеку. Я помню его коротышку и толстушку мать, Эмилию Петровну. Она много лет жила в семье Рейснеров, не то экономкой-домоправительницей, не то просто кухаркой. При ней выросла Лариса Рейснер, – "пламенная Паллада революции", так красиво, на манер французов времен Коммуны, назвал ее Троцкий. Помню жест Эмилии Петровны: она сплющивала ладонью нос, показывая, что нечем дышать. И при этом приговаривала: "Вот так и живем"...

А потом Костя Вагинов стал "обериутом", вошел в объединение Реального Искусства. Но и от творческих позиций Хармса и Веденского он был далек, по-прежнему писал он по-своему, суховато, графично, без обериутовских загадок. На знаменитом вечере в ленинградском Доме печати, где все было "наоборот", эпатажно и экстравагантно, Вагинова выпустили читать стихи первым. Он читал тихо, монотонно, – вот уж никакой эстрадности, никакой подачи,

актерства, – просто стихи... Он был сам по себе, просто поэт, никакой не "обериут"...

Мы жили на стыке времен, на диком несоответствии личностного нашего существования, того духовного, что несло в себе осколки прошлого, и "нового мира" с его невежеством и "чрезвычайной наглостью", как говорит Тептелкин, один из главных героев "Козлиной песни".

"Порвалась связь времен" – вот что читалось в романе Вагинова. А может быть, в названии его есть и другой смысл: из песен греческих сатиров-козлов выросло понятие трагедии. "Козлиная песнь" – трагедия.

Уже здесь в Нью-Йорке снова читаю я про петербургских безумцев, про последних гуманистов, раздавленных, нет, не тюрьмами, не пытками, – пошлостью, обывательской скукой, вытеснившей вагиновские "живые ночи", его мечты о "трудолюбивом шуме", о "музыке мысли". В "Козлиной песне" люди как бы зажаты между двумя этими полюсами – тени Афродиты, кашемировые ткани, "непонятные метафоры от сопоставления слов", мраморные львы, любовь Петрарки и Лауры, – и совбарышни и их ухажеры, тренькающие на гармошке или балалайке, и пионеры под окнами, горланящие "мы наш, мы новый мир построим", общественная столовка с тяжелыми оловяными ложками и сворованными дворянскими тарелками, кислые щи и жестокость, тупость, – "собачье сердце"...

"Искусство требует осмысления бессмыслицы", – говорит Тептелкин. Книга Вагинова и есть попытка осмыслить абсурд.

Вагиновские герои живут в прекрасном, эфемерном, иллюзорном мире в свирепое, грубое время. С развитием судьбы каждого из персонажей романа меркнут их иллюзии, и вот вагиновские петербуржцы приходят к тому, что возврата в "благоуханные рощи" нет. Духовность оборачивается грубым приспособленчеством, дешевым прагматизмом, поэты теперь – обыватели, рабы, слуги режима, – вот что в романе драматично. Так ли важно угадывать прообразы героев Вагинова? Лев Пумпянский, Федор Сологуб, сам автор, – не это существенно! Все это собирательно, все это единый образ "страшных лет России".

И вот вспомнилась мне та вагиновская книжка, напечатанная на плохой бумаге издательством "Прибой", – переплет расчерчен тоненькими белыми штришками на сером фоне, и остренькие, мелкие буковки автографа, – увы, все это где-то потерянное, развеянное ветром советской моей судьбины...

Поворот

На ту митину телеграмму, с трудом передававшую латинским шрифтом его отчаянье, я не ответила. Я судила своего мужа-мальчишку по всем законам строгого советского пуританизма. Конечно, не очень-то приятна сама по

себе измена, но для меня важнее была моя чистоплюйская гордыня. Вот-мол, я на пьедестале, во всем блеске советской нищеты, а он – "разложился". И мое зимнее пальто, протертое до белизны, уже не казалось мне жалким, и снова корюшка была прекрасна. Так и пребывала я в этом самогипнозе, на своем "пьедестале", так обида растворилась в чувстве превосходства, помогавшем мне в моем крахе и оскорбленном самолюбии. И я жила, бегала в филармонию, общалась со своими тунгусами, заносила в "ученые записки" их беседы с духами, храбро шагала через кладбище мимо могилы Достоевского, – все шло заведенным чередом. И вдруг – телефонный звонок. "С вами говорит Трояновский". Я была приглашена в гостиницу "Астория" к нашему послу в Японии...

Во время моих частых командировок в Ленинград, уже через много, много лет, я удостаивалась чести останавливаться в "Астории". С улицы туда не проникнешь. Там все для иностранцев или для избранных. Я не была избранной, но могущественный администратор из театра оперетты, а оперетта могущественна, – звонил какой-то Валечке или Ниночке, и бархатным голосом просил найти недорогой номерочек для "товарища из центра". Просьба сопровождалась ритуальным вопросом – "как благоверный", приглашением в театр и информацией о последней рыбалке. Бархатистые ноты и рыбалка срабатывали, и я получала "номерочек".

Тогда, в те годы, "Астория" представилась мне во всем сиянии питерского модерна, когда

на пороге номера с бело-красной роскошью меня встретил Александр Антонович Трояновский. Черноволосый с проседью, с черными глазами и широкой белозубой улыбкой, он совсем не похож на партийного бонзу, сходу пугающего одноклеточностью. Мне кажется, в молодости не испытываешь особого трепета перед "сильными мира сего". Трояновский был дружелюбен, и мне было с ним просто. Хоть и грызла мысль, знает ли он о митином романе. Смысл беседы сводился к тому, что мне надо ехать в Токио, что документы будут готовы недели через две. Отпустить Жукова они сейчас не могут, и мне надо быстренько собираться. Я начала отнекиваться, – работа, выпускной вечер в Училище, но, уже не без жесткости, он сказал "возьмите отпуск". И добавил, что Жуков "очень нервничает".

На днях я увидела на экране нью-йоркского телевизора Олега Трояновского, представителя СССР в ООН, сына Александра Антоновича. Кадр был мгновенный, я услышала только "американская агрессия" и что-то о советской "помощи". Я помню тринадцатилетнего черноглазого мальчишку, приезжавшего домой на уикенды из Иокогаммы, где он получал американское образование. Он появлялся у нас, – возраст не в счет, когда они с Митей возились с мотоциклом. А потом он учился в Москве, в ИФЛИ, – у нас с ним общие друзья. Способный, отлично образованный, владеющий английским как русским, он получил и доброе наследство, как некогда доставался графский титул, –

наследственную партийность, наследственные посты, наследственную... ложь...

Я вышла от Трояновского в светлую ночь, уже май и предчувствие белых ночей, – Исаакиевская площадь, купол собора, мрачная торжественность распахнутого пространства, – все это виделось мне как бы со стороны. Перед самой собой я делала вид, что выхода нет, что "так надо": я еду в Токио... Вот как все это произошло накануне того, как встретились мы на Литейном с Колей Олейниковым, и я сказала ему, что он волшебник...

"Вуаяж"

Мне не вспомнить теперь многих минут и часов, совсем недавних, – вот они, лица и голоса, кажется я уже слышу и вижу их, но нет, все расплывается в тумане, и нет их как во сне, который никак не ухватить, не вернуть. И почему же так отчетливо всплывает то давнее, – каждая тревожившая меня тогда назойливая мысль, и каждая мелочь, и дешевенькое платье, сооруженное моим семейством, его цвет и фактура, чтоб я там не ударила лицом в грязь, в этой Японии, чтоб не была Золушкой и оборвашкой в эти трудные первые минуты...

До Японии был Владивосток. Тогда, более пятидесяти лет тому назад, поезд вез меня тринадцать суток, томительный, зашмыганный, душный поезд. Заснуть трудно, все думаю, как там в колонии, все ли знают об амурах моего

мужа, и как себя вести, как держаться... И я мучаюсь, боюсь этой бессоницы, чтобы не показаться там совсем выдрой. Но наконец-то, бухта ”Золотой Рог”, – куда не выйдешь, на какую улицу не забредешь, везде этот пронырливый залив, а у причалов китайские ”джонки”, рыбачьи лодчонки, как мошкара облепившие берег, и китайские кварталы, горбатые и грязные, изуродованные ножки-копытца китаянок, и вот он, поджидающий меня на пристани японский пароход Асакуса-Мару, и толпы людей, моряков, ученых, геологов, охотников, ждущих свой рейс на Камчатку, Сахалин, Колыму. Живой был город, пряный, бурливый.

Теперь Владивосток совсем не тот, я была в нем незадолго до отъезда в Штаты. Опустели китайские кварталы с их покатыми, кривыми улочками и гортанной речью, и нет утлых джонок, отчаянно ходивших в открытый океан за рыбой. Теперь в городе современные высокие дома, отстроенные ленинградской проектной организацией в ожидании высоких гостей из Америки. Гости не приехали, встреча не состоялась, а красивые дома остались, и по ночам свет окон бороздит улицы, и скаты сопок, и как бы невзначай забежавшие сюда, под эти лучики, воды Великого или Тихого. И теперь моим пристанищем был уже не старенький отель ”Золотой Рог”, где все похоже на ту же ”Асторию”, только в миниатюре, беднее и грязнее, где было много бархата, и не было горячей воды, а по ночам неслись пьяные вопли гуляющей в ресторане матросни всех континентов.

Теперь я жила в гостинице "Владивосток", с чопорными дежурными на этажах, со всеми онерами международного шика. Но где бы поесть в этом сегодняшнем дальневосточном форпосте? Торговый флот теперь в "Находке", здесь только военные. И где бы добыть из-под полы кусочек рыбы, – вот проблема. И улицы, и ее люди, все это теперь точно такое, как в Туле или Казани, – зеленая сберкасса, пустой Гастроном, – все пожухло, полиняло, – город отцвел, отжил...

Я думала о Владивостоке, том давнишнем и нынешнем, этим летом в Сан-Франциско. Как удар, – город из сказки, слепящий белизной, убегающий вверх, то круто несущийся вниз по зеленокудрым каньонам, нависшим над океаном. Вот он, Фриско, город-легенда, родной брат Владивостока, – те же террасы, и скаты, и бухта, по странному совпадению названная "Золотыми воротами", и те же соседи, тихоокеанский бассейн, Гавайи, Филиппины. Но как случается и с близнецами, у Владивостока и Фриско, – разные судьбы, разное счастье...

* * *

После Владивостока был порт Цуруга. Воистину, все было не так, как у писателя Ивана Гончарова в его "Фрегате Паллада". Еще с борта парохода я увидела нечто марсианское, очкастых велосипедистов, похожих на летучих мышей в их серо-черных кимоно с развевающимися

на ветру рукавами, топчущихся как у монумента у фигуры с большой бородой, в шляпе, кимоно и гета на босу ногу. Я сразу же смекнула, — это Дмитрий Дмитриевич Киселев, консул, человек, который должен мне помочь добраться до Токио. А человечки в очках и с фотоаппаратами — пресса! Они набросились на меня с необыкновенной жадностью, хотя что было с меня взять, со студентки. Но в этот же день в газетах Токио появилось "интервью" с фото и с каким-то белибердовым текстом. Все, как полагается!

Киселев, видимо, смертельно скучал в этом похожем на Коктебель пустынном берегу с ветрами и рериховскими закатами. Что было делать здесь русскому человеку?!

Каждую пятницу пароход "Асакуса-Мару" привозил бородачу рыбку особого русского копчения, водочку, заодно и диппочту. Эту водочку распивали с ним вот эти самые очкарики-репортеры, другого общества у нашего консула не было. Так что свихнуться от тоски было проще простого. Впрочем, кто знает, может у него и были дела поважнее, чем эта водочка, но это уже тайны мадридского двора...

Трояновский

Не мне судить каким послом и политиком был Александр Антонович Трояновский. Дипломатические отношения с Японией только завязывались, – к Японии после дальневосточной кампании особого доверия быть не могло. Кроме того, предметом давних распрей между двумя соседними государствами была еще и рыба, рыболовные промыслы, кормившие восемь японских островов. Накануне прибытия нового советского посла, в Токио были три попытки поджечь советское посольство. Своенравно вели себя и сами рыбы. Однажды японские иваси повернули из японского моря в Амур. Так они стали достоянием советского "Рыбторга". Счастливые были времена: продолговатые красные жестяные коробки с этими ивасями в томате, мы запросто покупали в любом гастрономе. А потом ивасям взбрело в голову вернуться восвояси, в свое японское море. И они опять стали гражданами Японии. Это только забавный эпизод, ничего не значивший в рыбной политике в целом, но характерный для ситуации: где чья водная граница, и где чьи рыбы, – вот в чем был вопрос, рождавший в свою очередь, множество других проблем.

У Трояновского была забота и поважнее, так называемая "тихоокеанская проблема", хотя, в сущности, это были больше дела Америки и Японии, эти разжигавшие аппетит острова

Тихого океана. Но и Советский Союз, видимо, заглядывался на этот лакомый кусочек. Так что дел было немало. Но Александра Антоновича чаще всего можно было видеть на тенисном корте. С ракеткой в руках, его фигура и тридцать два безукоризненных белых зуба появились на обложке популярного японского журнала. У меня вырвалось: ”Посол СССР за улыбкой”. При встрече, – кто-то ему донес, – он не без обиды в голосе сказал: ”Улыбка – это тоже дело...” Приехал Трояновский в Токио после довольно скандальной истории с Беседовским, его предшественником, первым послом СССР в Японии. Беседовского перевели советником Полпредства во Францию, и там он сбежал, стал невозвращенцем, одним из первых в этих рядах прозревших и отважных. Так что назначение Трояновского было выражением особого к нему доверия, хоть и был он в прошлом меньшевиком. И сидел за это темное прошлое в советской тюрьме. А доверие, – оно было не случайным. Вот почему: до революции, в эмигрантском приятном ничегонеделании, – переписка с ”товарищами”, знакомство домами с Владимиром Ильичом и ”Надюшей”, поездки друг к другу в гости (”пожалуй приедем к вам летом”, ”хорошо бы Вам отдохнуть у нас”, – это Ленин – Трояновскому), издание журнала ”Просвещение” – Трояновский собрал на него ”деньжонки”, – нет, это все не спасло бы ”Антоныча” от сталинского суда. Но однажды, когда он ”мучился от проклятого сырого климата” в

Вене (!), кто-то постучал в дверь. – "Джугашвили". И вошедший протянул ему руку. "Они много гуляли поздними вечерами по темным аллеям городского парка", – умиляются биографы Трояновского. И хоть Сталин далеко не всегда был верен своим старым дружбам, Трояновского он не только не тронул, но и возвысил. После Японии, где ему тоже "вредил климат", Александр Антонович был назначен первым послом СССР в Америке.

Советскую колонию я в тот свой приезд в Японию толком не разглядела. Хотя были там и примечательные люди, такие, как Иван Михайлович Майский. Запомнились мне его черные цыганские глаза и бородка, и наш с ним разговор о Кабуки, – он добивался гастролей этого театра, не скрывающего того, что он театр, и что все в нем пышно, красиво, условно, трагично и трогательно. У Майского были большие неприятности из-за этих гастролей, влетевших в большую сумму, но потом говорили, что это Трояновский так расширил культурные связи между Москвой и Токио, что это заслуга замечательного посла, сумевшего оценить и понять изысканное и мудрое искусство японских актеров. Майский же действительно был театрал. Странно встретились мы с ним через много лет в бывшем Камерном театре, на гастролях затрапезного провинциального театра. Он пришел на спектакль в *первый* день по выходе из тюрьмы, – это уже после Англии, где он был послом. А за что он сидел – пойди-пойми! Мы вспомнили с ним, как он

уговаривал меня тогда не рваться домой, а пожить в Японии, разглядеть ее чудеса. Но я была непоколебима. Домой, домой! Я провела в Токио всего два месяца, и мы уехали в Ленинград. А в коридоре вагона, везшего нас в Цуругу, мы столкнулись нос к носу с "ней", с митиной пассией. Она ехала отдыхать и сошла на какой-то станции. Не попрощавшись... Любовь, любовь...

Не успела я после беседы с Трояновским в "Астории" появиться в митином японском обиталище, как она нанесла мне визит вежливости. Ее, видимо, разбирало, что там у нас... И пригласила меня в "Кабуки". "И ты пойдешь?" – настороженно спросил меня Митя. "Еще бы! Пропустить такую возможность!" Он был удивлен, что не было драмы. Оживленная, счастливая, я вернулась со спектакля, в котором играл сам Ицикава Садандзи. Его отцы, и деды, и прадеды тоже были Садандзи, и они были великими актерами "Кабуки", и он тоже был великим. Я была в захлебе. Митя слушал меня рассеянно. Наконец он не выдержал: "Ну, а как она? Как тебе? Не очень дура?" Интересный народ мужчины! Теперь он уже стеснялся ее, она уже была в чем-то виновата, и он готов был ее ненавидеть, теперь, когда угар прошел. А она была красавица. Темные волосы зачесаны гладко за уши, под старину, женственная ленца, матовая кожа. В нее влюблялись, и это было ее несчастьем, ее унижением, потому что она была одинока и тоже влюблялась, и была легковерна, а ее быстротечные поклонники смотрели

на нее, когда выдыхалась влюбленность, вот этими же злыми митиными глазами... Так что я ее даже жалела...

Домой, домой

Угар прошел, мы помирились. Но я рвалась домой, в Ленинград. Во всем виновата Япония, так я думала. И все мне здесь не нравилось. Забылась карамель на том институтском вечере. А она нравилась ему давно, и вот они встретились столь романтично, – она тоже была на практике среди хризантем и восходящего солнца. Казалось бы, в Ленинграде все пошло своим чередом. Но все было другим. Царапина осталась...

Кроме того, мы теперь были инопланетяне. На Невском встретили Женю Шварца, он взглянул на наши каучуковые "тихоходы", как на нечто непонятное. "Чудно", – сказал он, ухмыляясь...

Чудным было все в нашем новом заграничном облике. Теперь бы мы сказали, что все это очень скромно, но тогда... Нас разглядывали, изучали, Олейников нацепил на себя мое новое пальто с лисой, кружась в дикой пляске, Стенич перемерил все митины галстуки, Коля Чуковский важно листал фолианты, – мы провезли эмигрантскую литературу, – все было в нашем багаже сенсационно, и мы были сенсацией. И вдруг мне стало непереносимо тоскливо после бьющего пенистым гейзером Токио, – именно

уже тут, дома, я подумала о том, что можно ведь жить иначе, без этой скованности, духовной и материальной, без этой кичливой, "самоотверженной" нищеты. И теперь мне хотелось опять туда, в этот порочный мир, в этот "утлый челн капитализма" с его "товарным фетишизмом". Теперь меня давила тишина, пустынность. Вопреки науке, мои сны были цветными. Они были абстрактными, эти сны, – яркие пятна, сияние огней, пылающие горизонты. И что греха таить, тот день, когда мой Жуков пришел с новостью, – его снова откомандировывают в распоряжение Полпредства, – этот день был для меня воистину волшебным.

Колония

Теперь у меня было время оглянуться. Мы прожили на этот раз в Токио около двух с половиной лет, и это были прекрасные и ужасные годы. В советской колонии было человек сто пятьдесят, – служащие полпредства и торгпредства с семьями. Очередной "Корабль дураков", не помышляющий о предначертанной гибели. "Колония" представляла собой макет советской власти со всеми ее "пригорками и ручейками", культом, слежкой, доносами и унификацией образа жизни и образа мыслей. Все то же, только сплющено, уменьшено в размере, – демагогия, вранье. Новым было стяжательство. Никогда не забуду трепещущие пальцы одной полпредской дамы, нервно, сладострастно

щупающие на прилавке какой-то материал. Вещи покупались, самозабвенно складывались в сундуки, чтоб наслаждаться ими "потом". "Потом" это все разграбили, растащили энкаведисты. Уничтожение "врагов народа" обычно сопровождалось "конфискацией имущества"...

Наш домик был в одном из тупичков узеньких улочек. Раздвижные стены, на полу татами – настилы из рисовой соломки. Два этажа. Холодильник, еще не электрический. Туда вкладывались кирпичи льда, их привозил каждое утро "бой-сан". Мы просыпались под голоса этих "бой-санов", – "охайо-годзаимас", доброе утро! Нас приветствовали, правда несколько своеобразно, и соседские мальчишки. Домики наши впритык. Заглядывая в наши окошки, они дружно кричали: "бакаера, бакаера!", что значит – дураки! Обстановки "взаимного понимания и сердечной дружбы" с этими чертенятами не получалось...

В колонии у нас завелись друзья. Прежде всего, наш торгпред, Павел Васильевич Аникеев и его жена Берта, "Бертушок", как ехидно окрестили ее жены рангом пониже. Из зависти. Было чему завидовать. Берта Владимировна была грозным начальством своего Пашеньки, он был "при ней", хоть она и была всего женой. Скромный, тихий, простоватый, он был еще совсем не стар, хоть и "старый большевик". У него была и соответствующая биография, – Сибирь, парижские кафе... А она была буржуазная дама, статная, красивая, острая на язычек. И он пасовал...

"Бертушок" и подбила меня на благородное дело, – подготовить к октябрьским праздникам что-то вроде спектакля с малышами. Артистам было лет по пять, шесть. Мы получили одобрение свыше, с тем, что наши младенцы откроют вечер пением "Интернационала". А на вечере, когда небольшой полпредский зал воссиял огнями, и в рядах воссели важные дяди и тети, дети разволновались и затянули что-то не слишком стройное, запутались и начали реветь. Имя человека, который уличил нас с Бертой Владимировной в сознательной диверсии, я запомнила навеки. Это был некий рябоватый Пименов, шифровальщик Полпредства, птица небольшого полета, но важный партийный чин. Он-то и подал заявление в партбюро Полпредства, что это дело наших рук, это искажение священного текста невинными крошками. Дело это в конце концов замяли. Но эта подлейшая и глупейшая история раз и навсегда отбила у меня охоту заниматься в колонии "общественной работой". Все могло кончиться высылкой "в двадцать четыре часа"...

Эти "двадцать четыре часа" вечно висели над всеми нами. Поговаривали, что нечто подобное грозит нашему военному атташе, Виталию Примакову. Примаков был ходячая легенда, этакий бонапартик, мужик, мужчина, коренастый крепыш с волевым подбородком. Полководец недюжинного таланта и храбрости, герой дальневосточных кампаний, он любил окружать себя молодежью, с которой и выпить не грех, и пошуметь, и поплясать. О примаковских

”ассамблеях” шли разные толки. Но было ли это истинной причиной, если не двадцати четырех часов, то недели, которая была ему дана на сборы домой, безо всяких объяснений, – мне этого не дано было знать. Возможно, что это было уже подготовочкой к ”приглашению на казнь”, хотя внешне все оставалось спокойно.

Мне, грешным делом, очень хотелось попасть на примаковские суаре, но он нас не звал. А тут представился случай. Я познакомилась с ним в Кобе в консульстве, и мы сразу задружили. Он прощался с Японией, мы вместе покупали ему галстуки, выбирали рубашки, бродили, болтали. Он юморил, рассказывал о своем черниговском детстве, и я представляла его себе парубком в вышитой сорочке, крестьянским пареньком, похожем на героя ”Наталки-Полтавки”. В Москве он скоропалительно женился на Лиле Брик. Маяковский уже ”застрелился у двери любимой”. Встретили мы эту странную пару в Ленинграде на очередном закрытом просмотре в Доме Кино. Он только что был назначен заместителем командующего Ленинградским Военным округом. Пост не малый, и совершенно выдристая Лиля, вылинявшая так, словно ее опустили в особый едкий раствор, не оставляющий никаких красок, поворачиваясь к нам с Митей, щебетала о новой пятикомнатной квартире, которую им с Витюшей, Витенькой, Виталием надо же обставить! В тридцать седьмом его расстреляли. Я запомнила дату: утром, двенадцатого июня. Их было тогда семеро в

этот летний день, расстрелянных вместе с Тухачевским.

Японская "компания"

Компания образовалась стихийно, вдруг. Второй раз мы ехали в Токио, зная, что нас будет встречать на вокзале Сэки Сано. Он прикатил на своей машине, этот очкастый сверх-интеллектуал, очень умный и очень богатый. Собственно, богатым был не он сам, а его отец, крупный психиатр и владелец большой клиники. Сэки, как ни смешно это звучит, был истинным европейцем, этот человек, таких ярко-выраженных японских, а, быть может, и древне-самурайских кровей. От Сэки все и пошло. Он притащил к нам своих приятелей, и они сразу же прижились на наших посиделках с водочкой и солеными огурцами, закупаемыми в большом количестве в полпредской лавченке. Вместе с впоследствии известным режиссером Иоси Хидзиката и литератором и переводчиком Рекичи Сугимото, Сэки организовал "левый" театр "Сайоки Гекидзе". Они все были романтики и отдавали этому театру и все свои силы, и все вои деньги, и все свое имущество. На сцене театра было мрачно, актеры изображали рабочих в коротких куртежках. Они вздымали кулаки в проклятьях и угрозах, что-то во всем этом было от ТРАМ'а, от наших агит-театров с их исступленной "революционностью". Кончилась эта революционность тем, что Сэки угодил в тюрьму. Доктору Сано

было предложено внести за сына пятнадцать тысяч ийен. И Сэки выпустили на поруки и предложили немедленно убраться из страны. Бедненький, он вынужден был уехать... в Париж! Впрочем, был во всей этой немножко игрушечной истории и драматизм. У Сэки была жена, очаровательное существо, актриса. Она была из бедных, дочь заштатного офицерика, и вот, ее заприметил богатый сынок! Теперь она провожала его...

Наша домоправительница Хана-сан была вне себя от возмущения. Смертельно надоели ей наши сборища, грязная посуда, лишние траты. Совершенно патриархальная японочка, кланявшаяся гостям в пояс, положив руки на колени, эта Хана-сан выписывала себе три газеты в день. Часто, когда они с Митей оживленно трещали по-японски, я ревновала к чему-то мне непонятному. А предметом их жаркой беседы был... Гегель, что-то они понимали в нем по-разному. Такая была наша Хана-сан... Но проводы, вопреки ее протестам, состоялись все-таки у нас...

Все было как всегда бестолково и пьяновато, но ясно вижу и сейчас, как Сэки и его Фуми-чан (для японцев что-то вроде нашей "Наташи", так же нежно и красиво), сидели у окна долго и молчаливо. И такой вот эта прелестная женщина осталась в моей памяти, – молчание, сиреневое кимоно, печальная недоговоренность. Почему он не взял тогда ее с собой?!

А Сэки из Парижа приехал в Москву, незадолго до тридцать седьмого. И привез неземные парижские дары, – виноград, груши и пунцовый

берет. Долгие годы я была с ним неразлучна, с этим беретом, долго в нем щеголяла...

В Москве у Сэки Сано началась бурная жизнь, его взяли в Театр Революции, но поставить он ничего не успел. Все странно повторилось. Он женился. И новая его жена была тоже очаровательна, — моя приятельница Галя Борисова. Она тогда работала секретарем в МОРТ'е, — звучит отвратно, — чернокудрое, обаятельное создание, командовавшее целой армией театральных деятелей всего мира (МОРТ — сокращенное от Международное Объединение Революционных Театров, еще один "КЛООП", как у Ильфа и Петрова, еще одно мертворожденное заведение.) Правда, там можно было встретить и Эрвина Пискатора, и Брехта, и там Галя выловила нашего Сэки. Фумичан была далеко, да и ждала ли она своего крамольного, революционного супруга?! И он женился. Москвичка, дочь врача, комсомолка Галя полюбила свалившегося на нее с луны раскосого, хромоногого островитянина всерьез. Тут приехал и Йоси Хидзиката. Его взял к себе Мейерхольд. Образовалось японское театральное землячество. Всей этой команде, — их было вместе с хидзикатовой семьей человек шесть, благодаря всяческим хлопотам, дали крошечную квартирку на Земляном валу. Построили нары, чтоб было где спать, и этот японский колхоз зажил. Москва в те годы была театральной Меккой, и мои японцы были счастливы. Галя была беременна, когда грянула неожиданная расправа. Успели ли они опомниться и что-либо понять, когда их

вызвали куда надо, и предложили немедленно убраться из Москвы, из России, – куда угодно, ко всем чертям! Все для Сэки странно повторилось. Тогда его выгнали с его убоявшейся революционности родины, теперь гнали за "контрреволюционность". Гнал мир братства и международной солидарности. Странным повтором выглядели на этот раз и проводы. Теперь уже не со своей сиреневой Фумичан, а с кудрявой москвичкой Галей, Сэки растерянно вглядывался в темные окна, в неведомое будущее, глотнув все той же русской горькой "на посошок". Он снова бросал женщину. И будущего своего ребенка. Он этого совсем не хотел, но Галя-то была крепостной... Он не мог взять их с собой. Их дочка, появившаяся после изгнания Сэки, совершенная японская куколка, с черной челочкой и древними, из самурайских веков глазами, и с новым слиянием цвета кожи, прожила недолго. МОРТ, разумеется, разогнали, Галя как-то с годами выкарабкалась, нашла новую работу, ее по небрежности ветра, "шевельнувшего не той страницей", не посадили. А о Сэки Сано мы услышали только через четверть века. "Советская культура" вдруг вышла с большим подвалом о его режиссерской деятельности где-то в Южной Америке. Сэки вынырнул для меня из эфемерных далей, чтоб не только вернуть память о "пылающей молодости", – он снова стал реальностью, ощутимой частью нашей жизни. Мы закрылись с Галей в одном из кабинетов ВТО, – Галя заведывала секцией

театральной молодежи Дома Актера, – и стали гадать, – а вдруг он приедет! У Гали был ужас в глазах, – "У меня даже приличного платья нет!" "Не проблема", – успокаивала ее я, – "нарядим как елочку". А самой больно. Неужели эта та Галя? Эта сутулость, и эти побуревшие, неухоженные волосы... "Галя, почему ты не вышла замуж?" Дурацкий вопрос. За кого? Мужиков перебили, все мы вдовствовали. Да у нее и не было сил любить, жить, чего-то добиваться. Она была женщиной, прелестной, милой, она была рождена, чтоб быть женщиной. Хотелось бы знать, что имел в виду Маркс, предпочитая всем женским достоинствам слабость. Какую слабость, в каких обстоятельствах?!

Сугимото

С Митей они занимались японским языком, со мной была просто дружба. И пришлось нашей бешенно зыркающей глазами Хана-сан примириться чуть ли не с ежедневными его посещениями. Однажды мы были в театре, где было много наших русских. "Где ты взяла такого красавца", – взвизгнула одна из скучающих посольских дам?! Он покраснел, он же знал русский. С детства он бредил Россией. Отрастил длинные волосы "под Горького", носил косоворотку. На Гинзе часто встречались эти косоворотки. Подростком Рекичи Сугимото сбежал на Курилы, поселился там у скрывающихся от большевизма петербуржан, воротил у них всю

черную работу, колол дрова, топил печи, таскал воду и через два года заговорил на чистейшем диалекте ”бывших”. В семье его в это время разыгралась трагедия.

Его отца, профессора математики, какой-то его приятель вовлек в денежную аферу, обманул, разорил и опозорил. Позора профессор не снес и сделал себе харакири. Каждый знает, что это. Сел на любовно расстеленный на татами платок, скрестил ноги, подумал и вспорол себе живот. И смотрел на свои вываливающиеся кишки должно быть уже счастливый, – очистился, вознесся! Харакири это оставило семь голодных ртов. И Рекичи вернулся в Токио. В нем жил литераторский дар, и когда он рассказывал мне о своей семье, я будто читала роман из японской жизни, затягивающий, глубокий и современный. У него было три сестры. Муж старшей работал в английской фирме, и из Лондона она вернулась ”могой”, – ”модерн герл”, – короткие юбочки, стрижка, каблучки. Но муж не внял принципам европеизма, и сразу же по возвращении завел себе на стороне новую подругу, вполне легально, патриархально и добропорядочно. И ”мога” сникла, влезла опять в кимоно и тихо страдала, никуда не показываясь. Увы, и для нас, не японцев, ситуация эта была вполне знакома. И я вполне понимала эту незнакомую мне молодую японку, которая раздраженно и устало отвечала мне по телефону, что Рекичи нет дома, – ”аримасен!”

Средняя была вся в сомнениях, – кого взять в мужья. Ее водил в рестораны хлыщеватый

парень, отпрыск фабриканта презервативов, предмета, весьма важного на перенаселенных японских островах. Но она, как поется в песнях, любила другого, бедного студента, товарища Рекичи. Выбор пал, уже не как в песнях, на презервативного сынка, сулившего ей "на булавки" пятьдесят ийен в месяц. Как хорошо помню я эти пятьдесят ийен, которые победили.

А младшая была гимназисточка, в синей матросске и синей фетровой шляпе, – гимназическая форма, – обаятельный бесенок, явно уже знающая, что это – "бойфренд". И еще была бабка.

Она была совсем как из сказки про злую волшебницу, эта бабка, согнутая пополам и лысая. Видимо злоупотребляла в молодости снадобьями, без которых не соорудишь замысловатую, сверкающую лаком башню на голове. Рекичи собрал все свое семейство и пригласил меня с ним в кино. Шел американский боевик с жгучими поцелуями "в диафрагму". Поцелуев было многовато, зал терпеливо молчал, – японцы ведь не целуются. Тогда не целовались, теперь не знаю...

С детства помнился мне опереточный шлягер из "Гейши" про поцелуй. Вопрос дебатировался между "гейшей" и героем – белокурой бестией: "... Что такое по-це-луй...". Нашего Рекичи явно занимала эта проблема. Едем мы как-то с ним вдвоем в такси, и вдруг, совершенно внезапно, соскочив с какого-то "умного" разговора, смущаясь, натужась так, что его кремовая матовая кожа покрылась пятнами, он

выпалил: "Покажи, как это, поцелуй!" Ну не дура ли я?! Ткнула пальцем себе в щеку: старательно, по моей подсказке, он втягивал воздух. Ничего не вышло. Я не научила его целоваться, хоть он и нравился мне. Очень нравился. Но я была так "скучно-моральна"...

Он был моим рыцарем и гидом. В маленьком синтоистском храме он как-то нагло стащил со стены прелестный амулет-иконку. На фанерке, интенсивными, нисколько не потускневшими за полстолетия красками, – молодая женщина в темном кимоно. Ярко-синий фон и белилами очерченное продолговатое лицо, и сложное сооружение из смоляных волос, и руки-лепестки, как на старых русских иконах, и коленопреклоненность, – все это стало неотступной тенью моей жизни. Вот она и сейчас со мной, мой добрый ангел, – висит себе и поглядывает на мое американское житье-бытье...

Что-то Рекичи стал пропадать, вот его не видно уже несколько месяцев... Его появление было театральной мелодрамой, – непогода, ветер и мокрый снег... Бывает и такое в Токио. Он не вошел в дом, и только бросил на пороге, что за ним следят, и за нами тоже, и те, и другие, японская полиция и наше посольство. И уже на ходу, проваливаясь в темноту, он торопливо бормотал: "Увидимся, обязательно увидимся... У вас там..." Он бредил этим "лучшим из миров"...

Память, – упрямая штука. Из нее не вытолкнешь то, что лучше бы не помнить, не знать, так это больно! Вспоминая, проживаешь все

словно во второй раз, крутится назад время, и ничего не поправить, не изменить... Митька, мой внук, только народился, – значит это было в начале шестидесятых, – звонок из "Советской культуры". У Охлопкова идет японская пьеса в постановке режиссера-японки. "Напишите, а?" Пьеса называлась "Утраченные иллюзии" (автор, может, и не читал Бальзака). Поставили ее для Марии Ивановны Бабановой, уже давно не выходившей на сцену, – нечего играть! А актриса она особая, – миниатюрная, с детским, нежным, певучим голоском и сильным характером. Она была так обаятельна у Мейерхольда, когда играла Марью Антоновну, – смешное, глупое, трогательное существо в панталончиках с кружевцами, торчавшими из-под короткого платьица! Все это было мне интересно, и семейная драма а-ля Горький, и Бабанова в новом для нее качестве. Роль требовала большой актерской сноровки: из юного существа вызревала жестокосердная тиранша, японская Васса Железнова. Раскланиваться в конце спектакля вышла маленькая женщина в дорогом кимоно и с современной мальчишеской стрижкой. Мне надо было с ней встретиться, чтоб выудить у нее что-нибудь об авторе, да и о ней самой. На следующий день нам отвели в театре комнату, чтоб мы могли спокойно поговорить. К концу интервью я вдруг спросила, не знала ли она в Токио такого Рекичи Сугимото. Что он? Где он? Она смотрела на меня в упор, очень странно смотрела... Пауза. Теперь она была уже не в кимоно, – блузочка, английский костюм. Она

смотрела на меня с недоброй подозрительностью. И я повторила, уже утвердительно: "Вы знали Рекичи-сан?" Наконец, у нее вырвалось: "Это мой музь..." У японцев нет этого твердового нашего "ж", у нее прозвучал этот "музь"... И пошел рассказ, когда она отошла от первого шока, от автоматического испуга. Она была в Токио кинозвездой, ее знали и любили. Но вот она встретила Рекичи-сан. А он, небожитель, звал ее бросить все, родных, карьеру, славу, и бежать с ним в эту удивительную страну, где "человек-человеку друг, товарищ, брат". Может быть, и мы были виноваты, отчасти виноваты в том, что он так думал. Во что-то мы еще верили ведь, а если уже и появлялись сомнения, то настолько еще смутные, что не делиться же ими! Да еще с иностранцем. Мы всегда боялись, чего-нибудь боялись, – вот что было в нас...

Она пошла за ним, они пересекли границу, их встретили "братья", и они сразу же очутились в тюрьме. Они даже не знали, в какой они тюрьме, в каком городе, они ничего не знали друг о друге. Это была хабаровская тюрьма. Бывала я в этом Хабаровске, город, про который говорят: "Две горы, две дыры". А по-моему просто дыра, одна дыра. Хоть и на великом Амуре. Там мост, второй по величине в мире (первый – через Миссисипи), и главная улица, Ленина или Маркса, не все ли равно, тянется без конца, но не знаю я более унылого места на земле, все там голодно, холодно и несет тюрьмой. Через два года ее выпустили, в

японском консульстве ей дали денег, помогли связаться с Москвой. ”Я родирась в рюбаська”, – говорила она, – ”за мной приехал мой друг детства, мы поженились, и теперь у меня однокомнатная квартира...” А Рекичи умер в хабаровской тюрьме, не выдержал, не дождался встречи со страной, где человек человеку друг, брат, товарищ, с нами, с ”новой жизнью”, наш красивый, умный и такой же, как мы, глупый, японский друг...

Мы сидели в кабинете, где все официально, на стенах – мордастые типы, трезвонят телефоны, мы их будто не слышим, – две женщины, две обыкновенные бабы, и ревели...

Последняя пуля

В Токио начали рваться бомбы. Трояновский уже реже появлялся ”за улыбкой” с тениссной ракеткой, – отношения между Советским Союзом и Японией обострялись. И тогда-то и раздались эти страшных три выстрела в нашего Торгпреда, – в него всадили три пули, в тишайшего, смирнехонького, человека без взлетов, но милого и доброго Павла Васильевича, Пашеньку, когда утром, как всегда минута в минуту, он выезжал на своей коричнево-бордовой колымаге на работу. Он был старательным торгпредом и неукоснительным советским политиком, когда лез, согласно указаниям, не в свои воды, не в свои рыбьи угодья. Переговоры, предостереженья не помогали. И тогда-то ему и всадили три пули...

Да простят мне болельщики автомобилизма, ни тогда, ни сейчас не разбираюсь я в качествах, марках и фирмах автокаров, этих пыхтящих, фыркающих, чихающих, прожорливых животных, способных, подобно прирученным львам, каждую минуту растерзать вас на месте. Но о машинах я вспомнила отнюдь не в связи с опасностями, которые несет в себе автомобильное движение. Вскоре после пашенькиных пуль, приехала я в наше Полпредство на той самой машине, в которую стреляли. Только было собралась я возвращаться домой, как ко мне подошел один из личных охранников посла и предложил пересесть в другую машину. Только в пути до меня дошло, что несет меня роскошный белый выезд самого Трояновского. А посол отправился в очередной раз твердить что-то насчет "мирного пакта" в "моей", уже обстрелянной машине, любезно подарив мне шанс быть подстреленной вместо него...

Аникеев лежал в католическом госпитале, — очаровательные кармелитки-нянечки, комфорт двадцать первого века, корзины цветов, непрерывные телеграммы, — знаки внимания заботливой родины и японского правительства. История была невеселая, днями и ночами мы проводили у постели Павла Васильевича, тревожась за его жизнь. Одну пулю так и не удалось изъять, и потом она часто давала о себе знать... До самого того дня, когда чья-то неведомая рука, карающая во имя "общего дела", всадила в грудь "врага народа" еще одну пулю, четвертую, последнюю...

Невозвращенцы

Слово это новое, одно из изобретений нашего передового века. Перед самым отъездом был у меня откровенный разговор с одним ученым-психологом, человеком серьезным и мыслящим. "Почему вы не остались тогда в Японии", – спросил он меня. Дикий, абсурдный вопрос! Как далеко это от того, чем были мы тогда, и чем была для нас та жизнь, наши "мальчики" и "девочки", наша Филармония и Большой Драматический в глухомани Фонтанки, где играли "Дон Карлоса" ("О, дайте, государь, свободу мысли мне!"), наша керосиновая лавка на улице Достоевского, откуда годами таскали мы пойло кормильцам-примусам, и Невский, и весь этот упоительный и упоенный ("самодовольный" – это Мандельштам), "синильный", фантастический город! Озерки и Шувалово, – это было для меня светлой памятью, это звучало музыкой, – в раннем детстве туда ездил на дачу мой отец. А потом и мы... Признаюсь, мы уже не были тогда, в Японии, такими чистыми романтиками, и нас с Митей завлекали магазинные пиршества Матцуя и Митцукоси (совсем как здесь в Нью-Йорке Мейсис и Гимбелс)... И разве знали мы, разве до конца осознавали, что все уже решено, что мы приговорены?...

И слово "невозвращенец" было для нас табу. В Париже жила моя подруга детства Нина Берлина. Ее отец, журналист, популяризатор марксизма, заведовал в Торгпредстве важным

отделом. И взбрело мне в голову ”мир посмотреть”, и я написала им, что собираюсь в Париж. Паспорт есть, нужна только французская виза. Мы не виделись много лет. Они мне сразу же ответили, что ждут, что будут встречать ”с белыми нарциссами”, чтоб я их ни с кем не спутала. Трояновский отнесся вполне лояльно к моей затее, – отчего ж, свои люди, почему не повидаться, – уже куплены были подарки. И тогда пришел с работы Митя, насупленный и растерянный: Берлины отказались вернуться на родину, они ”невозвращенцы”. И Париж растаял, и пришлось ”мир посмотреть” много позже.

Мы их осуждали. В этом был и испуг, и недоумение. В капиталистическом мире навсегда?! Питерские интеллигенты, – и ”предательство”?! Но тут пришлось мне столкнуться с механикой этого ”предательства” в самом Токио.

Не запомнилась мне фамилия семьи, которую отзывала родина. Люди зажились в этом злачном капиталистическом мире, их откомандировали домой. Вечером, накануне их отъезда, мы с Митей зашли с ним попрощаться, дать телефоны, поглядеть на счастливцев. Мы уже тосковали по дому, начертили на стене палочки, и каждый день зачеркивали одну. Но палочек было все еще очень много, и мы завидовали им, этим уезжающим. Картина была обычная, когда люди снимаются с насиженного угла, – не все еще собрано, не утрамбованы чемоданы, разбросаны вещи, бумаги, газеты, словом – гибель Помпеи. Мы лезли со своими советами, расспросами, – достаточно ли теплых вещей,

штанов, чулок, кофточек везут они в наши холодные края. Мы совали им поручения, приветы... Они обещали писать, встретить, когда будем проезжать Москву. И у них, и у нас были слезы на глазах. А утром все японские газеты вышли с сенсацией: русский сотрудник Торгпредства попросил политического убежища...

Возвращение

Все-таки палочек на стене становилось все меньше, каждый день мы зачеркивали по одной. Митя писал отчаянные письма Бухарину, чтоб тот помог ему "вырваться". Он жаловался, что его заела среда. А Бухарин ему в ответ, что среди хризантем и солнца так прекрасно, и причем тут "среда, четверг, и пятница". Он все острил...

Мы собрали весь джентельменский набор, положенный по некому негласному статуту, – патефон, Ундервуд, пластинки "Коламбия" и "Виктор" с собачкой у граммофона. Митя тащил еще и японские книги-кирпичи, я упаковывала театральные куклы, каких-то напыщенных самураев в парче и с японскими "оселедцами", театральные маски, все на разный лад устрашающие, с зловещим оскалом зубов, с уродливыми гримасами, перекошенными ртами, – страшные маски мифологических злодеев, увы, выражающие все то же, что живет иной раз рядом с нами, да и в нас самих. Рассовали мы по чемоданам и недозволенное, – "Мою

жизнь" Троцкого, с тех пор не перечитанную, но оставившую незабываемую память о детских лужицах на полу, так любовно описанных автором. Троцкий любил в себе все, даже эти лужицы... С нами ехали на нашу родину и прекрасные романы Алданова, – "Маленький остров – святая Елена", и какие-то парижские газеты, от которых уцелели у меня в памяти строчки старого сатириконца Николая Агнивцева:

"Для того ль алеют зорьки,
Чтоб под негой опахал,
Алексей Максимыч Горький
На Ривьере отдыхал.
Чтобы Лазарь Каганович
В Лорис-Меликовы лез,
Чтоб писал Серафимович,
И с истерикой, и без..."

Все это мы провезли беспрепятственно, как "дипломатические".

Уже в тамбуре, издали я увидела напряженные, испуганные глаза мамы, когда вагон медленно подползал к перрону. Я выскочила, задыхаясь от слез, от удушливых спазм, от счастья, и вдруг она, тоже взволнованная, как-то очень беспокойно, очень торопливо спросила: "А еду вы привезли?" О ужас, мы и не подумали об этом, нам и в голову-то и не шло, что вместо красивого тряпья, пластинок, кукол, которыми так хотелось порадовать наших близких, надо было тащить консервы, вульгарные консервы, масло, дешевенькие норвежские сардины, банки с

бобами, томатами. Мы все забыли, о ужас, мы все забыли...

Вот тогда-то и задребезжал колокольчик на парадной, когда мы никого не ждали, и возник Олейников...

Обериуты

Все вернулось на круги своя. Я вернулась к своим шаманам, Митя прилепился к письменному столу. Он работал над диссертацией. Теперь я понимаю, почему Николая Ивановича Бухарина так интересовала его диссертация. "Реформа Мейдзи" второй половины девятнадцатого века, это же, в сущности, переустройство сельского хозяйства. И "Бухарчик", со своим лозунгом "обогощайтесь!", брошенным русским крестьянам, очевидно хотел знать, как это у японских крестьян...

Мы жили на Разъезжей, у мамы, – так казалось веселей. В комнате у моего брата Сережи толклась пестрая банда его приятелей, и среди них – "обериуты". Сначала они не были "обериутами". Они были просто "Данька", "Шурка", "Игорь". Шурку Веденского я знала еще до замужества. Он за мной приударял, мы дружили, куда-то вместе бегали, но это я уже помню смутно. Теперь дружба возобновилась, но уже по-другому. Теперь он был вихрастый, прыщеватый и неухоженный. Он был живчик, обожал фокстрот и считал себя "кавалером"! Он целовал дамам ручки. Ему казалось это очень

светским и галантным. Однажды я привела его в один дом, живший еще по-нэповски, – грешным делом "пожрать". Дом всполошился: привели поэта. Мой поэт расшаркивался, прикладывался к ручкам, чем насмерть испугал хозяек. "Это и есть ваш поэт?" – спросила меня одна из них. "Поэт? Да это гопник какой-то!" Теперь этого слова "гопник" уже не помнят. Блатной язык обогатился новыми словарем, но это "гопник", без всяких объяснений, кажется мне таким выразительным! Но он был битник, а не "гопник"! И все-таки, к нашему возвращению из Японии, Шура несколько преобразился. В нем появилась важность. "Моя мама вся в часах", – это уже было популярно. К стихам Веденского относились с интересом.

Хармс был совсем другое. Он не только взял себе англизированный псевдоним, отказавшись от русского, – Ювачев, – он и одевался как "денди-лондонский". Этих настоящих денди он никогда не видел, – пришлось самому придумать себе нечто "лондонское". Он носил короткие серые гольфы, серые чулки (увы, из грубой вигони), серую большую кепку. То и дело, он прикладывал к этой кепке пальцы, когда здоровался с встречными столбами. Он почему-то здоровался со столбами. И делал это с той важной серьезностью, которая не позволяла никому из нас хмыкнуть, или вообще как-то реагировать на эту подчеркнутую вежливость по отношению к неодушевленным, впрочем, для него, быть может, и одушевленным, невским фонарям. У него были

глаза, серые, напряженные, изучающие, он редко улыбался, и все будто во что-то вглядывался.

Иду однажды по Марсову Полю, и вдруг – Хармс! Мы вместе стали топтать снежок. Что-то на меня нашло. Я стала его "прорабатывать", дескать, это игра, эти кепки, общение с фонарями, – все это от ухода от людей, от реальности. Я уличала его в высокомерии. А он смотрел на меня своими серыми глубокими глазами и молчал. Ни слова не уронил, слушал! Молчал... Дура я была, не понимала, что игра, – это тоже естество, тоже природа! Иногда...

"Обериутами" они стали внезапно. Вхожу как-то в сережино логово, там, как всегда, от курева дым – густой завесой. И мне торжественно объявили, что создано новое литературное объединение, – "Объединение реального искусства".

Почему потом возникла эта декларация "Обэриутов" с этим "э" оборотным, не могу понять! Да еще подписанная Заболоцким. Заболоцкий "на минутку" вошел в "Объединение", – слишком он сам по себе, слишком крупное явление в поэзии, чтобы имя его связывалось с каким бы то ни было "течением", "объединением", слишком он "Заболоцкий". Хармс – тоже явление, но он собственно один и остался от всего этого "обериутства". Так я думаю...

Уже здесь, в мои сегодняшние дни, наткнулась я в одной из русских газет, на публикацию стихов Заболоцкого, и вот его фотография, – старомодная, ужас какая старомодная шляпа с большими полями, и его полуулыбка, и эти

северные его холодные глаза. Я стала перелистывать его стихи, это было совсем как перечитывание старых, дорогих тебе писем. Какой свежестью повеяло от чистых и нежных его мелодий, плывущих над многозвучными, торжественными аккордами...

Вот и Хармс, он был и есть Хармс...

Забрались мы однажды в его комнату, в коммуналке. В кухне наверно сто примусов, так они гудят, голоса, водопад клозета. Бурые обои, доканутый диван, – это я помню, и какие-то смешные картинки на стенах. Он читал нам отрывки из "Елизаветы Бам", поэмы-пьесы с ее "адом бессмыслицы", адом предательства, сливающихся в шумах, визгах, хрипах времени... Бам, Бам, Бам, – это совсем не из пьесы Хармса. Разверните сравнительно недавние советские газеты, и запестрит перед вами все то же "Бам, Бам, Бам", только это теперь про другое, про строительство байкало-амурской магистрали: "Молодежь – Баму", "Все – на Бам", бам, бам, бам... Не смешная ли игра ситуаций!..

В Москве я встретилась с книжкой "Первые русские абсурдисты". Издание Корнельского университета. И я перечитала это поэтическое и страшное предвидение – "Елизавету Бам". В предисловии на английском, – достаточно полное и точное описание вечера "обериутов" в Доме Печати. Удивительно, это сохранено, это помнят и знают! Но кое-что упущенное, мне хочется восстановить. Я помню это так. На сцену стало вдвигаться нелепое сооружение, непомерных размеров шкаф, – его толкали,

тащили, везли, – должно быть, какие-то энтузиасты, болельщики "обериутов". На шкафу, по-турецки скрестив ноги, сидел человечек. С этого смещения пропорций все и началось. Хармс-то был высокий и стройный, а тут он казался "человечком", и он читал в этом образе стихи... Упоминания об этом торжественном выезде на шкафу в корнельской статье нет. А без этого нет и живого Хармса. При всей его самоуглубленности, хмурости, неулыбчивости, ему нравилось чудить, что-то переиначивать, переставлять, придавать новый смысл вещам, вступать с ними в свои, только ему понятные связи. Это было у них общим, у него и его стихов, – неожиданная расстановка звуков, смыслов, вглядывание, вчувствование в эти звуки и смыслы, – "не проскользнуло ли в них новое сознание мира, новая форма окружающего, ибо каждая эпоха обладает ей одной свойственной формой или сознанием окружающего", – это Неизвестный поэт у Вагинова... Это делали и дадаисты. Но у Хармса, всегда, при всей нелепости словесных соотношений, есть и ненавязчивая, смутная, и все же достаточно глубокая и важная идея. В "Елизавете Бам" – предательство, дошедшее до бессмыслицы, до глупости, до полного распада. Эпоха подсказала Хармсу "сознание окружающего"...

На том вечере в Доме Печати вдруг впервые заметили мы Сашу Разумовского. Ходил тихий, скромный при "гениях", и вдруг сказал свое слово. Саша был кинематографист, работал на "Ленфильме", писал какие-то "нормальные" сценарии. Но тут он "высказался" ...

Спустили экран, вспыхнули очертания мчащегося поезда. Что дальше? А ничего. Поезд все идет и идет, как женщина, покачиваясь бедрами; он все тянется и тянется, этот разматывающийся клубок бесконечности. Вагон за вагоном в немоте сползает с экрана и проваливается в темноту зала. Конца этому поезду нет. Склеенная пленка создавала эффект бесцельного движения в никуда, стояния на месте, без надежды на новые очертания, на ритмический перепад, на перебивку этого одноликого, уже сводящего с ума мелькания. Экран погас не скоро. Еще не было Беккета с его "Ожиданием Годо".

Хармс и Веденский разделили судьбу своего поколения. Их убили, их уничтожили. Бахтерев и Разумовский по закону случайности уцелели, даже написали вдвоем патриотическую пьесу не-то о Кутузове, не-то о Суворове. Это я не в осуждение, иначе как бы выжить, как всем нам грешным! А красивой Марине, жене Хармса, похожей на женщин старинных портретов, удалось пробраться в Париж... "Доктор Живаго"...

Сейчас январь восемьдесят третьего года. Я получила письмо из Москвы с подробным отчетом о театральном сезоне. В театре миниатюр поставлен спектакль по рассказам Хармса, называется "Хармс, Чармс и два клоуна". И рецензию Вениамина Каверина прислали, радостную, счастливую, нет, связь времен не рвется, и не только потому, что еще жива память, а потому, что рукописи ведь не горят...

Эйхенбаум

В первое же лето по возвращении домой, в мою жизнь вдруг ворвался Коктебель. Со всей своей торжественной пустынностью, напористыми ветрами и камешками, так нежно расписанными морем. Тогда еще жив был над этим дальним берегом дух Волошина. С тех пор не приходилось мне больше бывать в тех местах. И смутно помнится мне узенькая лестница, вся в книгах, ведущая на второй этаж, а там некрашенный стол, – тот самый, волошинский, за которым собирались, ели, пили, гудели. И еще запомнилось на втором этаже окно, глядящее в море и горы. А на стенах – "японистые" волошинские акварели, то же море, те же горы, но уже другие, преображенные, то в утреннем тумане, то в подсветах сумерек...

"Смотри, – сказали мне, – Эйхенбаум!" У самого берега по колено в воде стоял человек в трусиках, усики ежиком. Трусики и пижонские усики – это было смешно. Он был небольшого роста, очень ладный. Ему кричали: "Борис Михайлович, Боря, плыви!" А ему, видно, понравилось плескаться тут у самой этой пенистой

кромки. Он болтал ногами как мальчишка и с интересом следил за брызгами.

Конечно, я знала это имя. Но в университете у него не училась, знала только, что он легенда, этот Эйхенбаум, со своим "формальным методом", открывавшим в литературе новое. И вот он плещется тут, и эти усики...

В то лето в Коктебеле было весело. Никто и не думал, что в декабре убьют Кирова и начнется очередное светопредставление. А пока что из соседних болгарских деревушек, где можно было разжиться всякой всячиной, жбанами притаскивали вино и кровавые помидоры, и ночами на пляже, под мигание звезд, все это уничтожалось, с песнями, стихами и болтовней. К нашему общему несчастью больше всех любил петь Борис Лавренев. Пел он хрипловатым фальцетом и фальшиво. Как говорят певцы — на кирпич выше. Или ниже. Наталья Васильевна Крандиевская, тогда еще супруга "графа", прибывшая худеть, на этих наших посиделках срывалась с диеты и потом каялась. И снова грешила. Помню жареного красавца-гуся. Это было художество, как она с ним аппетитно разделывалась. Из тьмы возникала бородатая тень профессора Десницкого с непременной его свитой — дочерью и сыном. Это они возвращались со своего "поиска". Совсем одержимые! Самые знаменитые коллекционеры камешков. И еще был с нами Борис Соловьев, долговязый, хмурый, знавший наизусть все когда-либо написанные стихи, писавший сам романы, которые "не остались", впрочем, как и

его стихи и критические статьи тоже. Жена его, очень комсомолистая и очень независимая, затеяла какой-то флирт. Суровый "Боба" влепил ей пощечину. Казалось бы, дело семейное, разберутся сами. Ну, а как же советская мораль?! И завели "дело". Лавренев в приступе административного восторга сам назначил себя "председателем суда". Присудили тихого любителя поэзии Бобу из Коктебеля выслать. "Выдворить", как теперь говорят. К самому волошинскому дому подкатила устрашающая размерами пятитонка, на нее взгромоздился подсудимый. Он стоял как монумент, и он смеялся, вглядываясь подслеповатыми глазами в кучку смущенных этой гражданской казнью провожающих.

Эту грустную комедию мы потом не раз вспоминали с Борисом Михайловичем, вспоминали и со стыдом, и смеясь, этот курортный вариант советской бдительности. Вот на этом сплаве моря, ветров, деревенского вина и кипения общественных страстей, заварилась наша многолетняя дружба с Эйхенбаумом. В Ленинграде мы перезванивались с ним каждый день и болтали, как подружки, о чем угодно, чаще ни о чем. Иногда он говорил, как ему пишется. "Придумайте название для статьи", – это уже был особый, экстренный звонок. И я "придумывала". Он дружил на равную, не позволяя мне ощущать его превосходство. И не только потому, что он был хорошо воспитан. У него это было в крови. Но это не значит, что он был "прост". Это Ленин у Горького "прост как

правда". А люди вообще не просты, все до одного. Так что Горький сказал неправду. Эйхенбаум был обаятелен, добр, он много улыбался. Он был ласков с людьми, но за этим все было непросто. С улыбкой говорил он о том, что у его розоволосой Раечки "поклонники". С улыбкой! А он страдал. Он много страдал в жизни.

Я не помню, чтоб он когда-нибудь спорил. Он никому не навязывал себя, свои мнения. Он не настаивал на себе. Когда ему самому все было ясно, а с ним не соглашались, он улыбался. Должно быть, это и есть высшая форма высокомерия, высокомерия как самозащиты.

Он был истый санкт-петербуржец. В эвакуации я получила от него в ответ на мое, письмо, которое так и начиналось: "... Так и пахнуло на меня нашими санктпетербургскими вечерами".

Начал он свою карьеру в Институте для благородных девиц. Он рассказывал, как сам, еще юный, учил шестнадцатилетних "барышень". Тогда же в какой-то газете напечатали его первые пять строк. Он это запомнил на всю жизнь, это первое свое авторское счастье.

Его божеством была музыка. Как и Пастернак, он долго метался, а потом верх взяла его страсть к литературе, к ее познанию. И к писательству.

Придешь к нему в знаменитую надстройку на Екатерининском канале, где все так красиво. Мебель – только дворянская старина – отливающее бархатом красное дерево (он много

печатался, зарабатывал, ему была доступна эта классическая строгость форм), словом, приходишь, он ведь сам звал. Но вот проходит пол часа, и мы уже одни с его перепудренной, розововолосой Раей Борисовной, а он тихо исчез. Заглядываю в кабинет – крайняя комната справа. Там только книги и стол. Он – над книгой, вчитывается, гадает, угадывает. Или строчит своим готическим, узеньким почерком.

О самых мудреных вещах он писал прекрасно, чисто, прозрачно. Он писал просто, здесь это слово уместно.

В первый день войны, оглушенные радио, Молотовым, молвой, мы сговорились с ним встретиться у Екатерининского скверика, прямо у входа. Многопудовая императрица со всеми своими красавцами в камзолах, оказалась в центре взъерошенной, сбитой с толку, перепуганной толпы ленинградцев. Я и не пыталась протиснуться ко входу, мы встретились на Невском. В тот день в нашем хмуром городе было настоящее лето. И люди были одеты по-летнему и казались более праздничными, чем обычно. И все это было странно, нереально – лето, цветастость, война. Милый Борис Михайлович! Он был также улыбчив, также спокоен. Мы потоптались, не зная, что и сказать. И вдруг он заговорил про "Хаджи-Абрек", – первую, совсем не лучшую лермонтовскую поэму – заинтересованно, погруженно. Что с ним? Что за небожительство! Причем тут этот Хаджи-Абрек? И сколько я ни пыталась перевести разговор, он опять, Хаджи-Абрек, Хаджи-Абрек.

Может, он прятался от самого себя, от надвигающегося ужаса?

Дима, его младший сын, был на первом курсе консерватории. Странноватый был парень, красивый, но тихий, тихий. Он успел написать свои первые романсы на стихи Лермонтова. Его убили на фронте.

Муж Оли, старшей дочери, умер в блокаду. В последнюю ночь он все просил принести ему попить, а она не смогла, не было сил. И потом всю жизнь вспоминала: не дала последнего глотка умирающему... У нее были две дочери. Крошечная Таня блокады тоже не пережила. Смертью своей она спасла жизнь своей сестре Лизке. Ольга обязана была сдать танину продовольственную карточку куда надо, но она соврала, что карточку потеряла. И Лизка получала какое-то время танины куски сахара, и ложечкой больше манки, и еще что-то. И выжила!

После смерти Раисы Борисовны, – это было уже после войны – они зажили втроем: "дед", Ольга и Лиза. Для Эйхенбаума она была божеством. Лизка, Лизка, Лизка... Ей не было еще и шестнадцати, когда появился женатый соблазнитель, не успевший до конца разобраться в своих чувствах. Кажется, это был единственный раз в жизни, когда Эйхенбаум, совершенно разъяренный, гнал этого кабальеро с лестницы. Вопреки всяким модным веяниям, "свободе чувств" и прочим атрибутам уже наступающей сексуальной революции! Он старомодно гнал и гнал лизкиного поклонника, и грозил ему, и

кричал, и был в исступлении. А поклонник этот был много лет его приятелем. Так что он не был только мил, и он совсем не был "прост", этот Эйхенбаум!

Втроем им было прекрасно, если б не Пушкинский Дом.

К тому времени они переехали на Петроградскую сторону. Перетащились туда и все редчайшие его книги, те самые, что какое-то время кормили уже подголадывающую семью. Где они теперь, в чьих руках, все эти уникальные издания в рыжеватом сафьяне, те, что, быть может, стояли на полках смирдинской лавки, когда туда заглядывал Пушкин?

Изгнанный из Пушкинского Дома, оторванный от привычной ему биосферы, разжалованный, уничтоженный доктор наук (из него можно было сделать сто докторов), Эйхенбаум теперь перебивался с Ольгой и Лизкой с хлеба на квас. Унизительность положения подчеркивалась олиным оголтелым, безостановочным выстукиванием на машинке. Машинка стучала с "вечера до вечера". Ольга выколачивала свои гроши, чтоб поддержать затравленного отца. А он не мог заработать ни копейки. Теперь ему не платили в Пушкинском Доме и его не печатали. Формалист! Приходили ученики, приносили еду. Тогда была еще икра. Он отшучивался, пряча неловкость: "Опять икра? Какое однообразие!"

Я встретила его в счастливые дни: он получил докторскую стипендию. Но не только теперь, когда стало материально легче, — всегда он

оставался самим собой. Писал своего Толстого, и те же усики, и концерты, премьеры – друзья приглашали его наперебой. И он ничего не пропускал, все ему было нужно, интересно, он любил людей, суету, ему хотелось видеть знакомых, улыбаться, болтать...

За что все-таки его травили? А как же? Ведь "Формальная школа"!

Сначала их было трое – Эйхенбаум, Тынянов и Шкловский, триумвират, открывший новое в литературоведческом мышлении. И они были друзья. Но "Витя" переехал в Москву, Тынянов умер в разгар войны, в 1943-м году. К космополитическому шабашу, к разгрому Пушкинского Дома, Эйхенбаум остался один. В сущности, он один расплачивался за формальный метод, за начало исследовательских принципов, известных сегодня под именем структурного анализа. Сейчас в американских университетах диссертационная тема – Эйхенбаум. Жаль только, что зачатый формальной школой структурализм чаще всего сужается теперь до опасных пределов, когда уже не остается места для поэзии в поэзии, когда формулируется то, что не поддается формулам, когда все расщеплено как атом, и нет непостижимости и тайны творчества, тайны личности поэта. Все рассыпано на детали, высчитано, вымерено. Отвлеченно, вне сути, рассмотрен синтаксис художника, изучены звуки, их сочетания, но выплеснуто главное – гуманистическая функция искусства. В сущности, искусство дегуманизируется. Достаточно сегодня заглянуть в работы Эйхенбаума, чтобы убедиться

в том, что формальный метод ленинградских ученых в этой дегуманизации повинен менее всего. Даже в ранних работах Эйхенбаума нет этого извлечения из поэзии поэзии.

Случилось мне в эти дни, что пишутся эти строки, получить по почте пакет. Мистика, совпадение? Переизданная только что во Франции книга Эйхенбаума "Анна Ахматова. Опыт анализа". Первый раз она была напечатана не то в Петрограде, не то в Берлине, точно не помню. Было это в двадцать втором году, когда Ахматова не была еще той Ахматовой, что стала, – поэтом эпохи. И Эйхенбаум не отошел еще тогда от узкоформального метода, но как захватывает, как увлекает динамика этой его структуралистской работы, как строго-академически, и, вместе с тем, эмоционально расследуется ученым поэтика "женской лирики" Ахматовой. Он ищет в ней "насыщенность смыслового пространства", естественность – результат взволнованности. Эйхенбаум говорит, исследуя синтаксис, о чувстве, которое находит себе в ахматовских строчках "новое выражение", о стремлении поэта к "лаконической энергии". Расщепляя, он ищет целое, не покушаясь на то, что не объяснишь, на тайну. Когда только-только появился Хемингуэй, он сказал мне, что плакал над "Прощай, оружие". Формалист, он плакал, он обливался над сентиментальным вымыслом слезами...

* * *

Я читала его дневники, нигде пока не опубликованные. Это страшный документ. В дни ждановской кампании он методично, день за днем заносил на бумагу свои самоотчеты, садизм заседаний, голосований, выступлений в Пушкинском Доме. Тон этих записей страшен эпичностью. Факты без комментариев и оценок. Впрочем, изредка он срывался и называл вещи своми именами...

На первом экстренном собрании, в разгар этих ждановских бесчинств, Эйхенбауму, как и прочим, было предложено выступить. Запись в дневнике: "Я встал и сказал, что с постановлением *не* согласен". Но прошло несколько дней, пытка продолжалась, и ему вторично было велено высказаться. Та же скупость записи: "... считаю свое первое выступление ошибочным. С постановлением партии и правительства *согласен*". Жутким кажется в этом позоре отступления – покой. Покой безнадежности. Струсил ли он, человек ясный, чистый? Может быть и так. Что мудреного – испугаться наставленного на тебя клинка! Но могло быть и другое, могло сработать привычное эйхенбаумовское внутреннее упрямство, – он ведь никогда не спорил, когда знал, что все равно его не поймут. Ведь и Ахматова поступила также, когда любопытствующие иностранцы спросили ее, согласна ли она с постановлением. Она тоже была неразговорчива и отрезала: "Согласна!"

* * *

Книга Эйхенбаума об Ахматовой не потеряла свежести и сегодня, через шестьдесят лет после ее первого опубликования в Ленинграде. Когда я читала дневники Бориса Михайловича перед отъездом из Москвы, я не знала еще об одном обстоятельстве, которое могло быть причиной дополнительных его мук. Разбирая сборник "Четки" в книге "Ахматова", Эйхенбаум обращает особое внимание на новый для ее творчества слой церковно-библейской речи, "речи витийственной, вступившей в сочетание с разговорной и частушечной". В своем скрупулезном анализе поэтики "Четок", Эйхенбаум приходит к выводу, что образ лирической героини здесь двойственен: "Тут уже начинает складываться парадоксальный своей двойственностью образ героини – не то "блудницы" с бурными страстями, не то нищей монахини, которая может вымолить у Бога прощение". Формула, совпадающая с ждановской. В своем знаменитом докладе, большой знаток поэзии Жданов произнес почти эти же слова: "Полумонахиня, полублудница". Бывают всяческие совпадения. Но могло же быть и иначе, могло быть, что старательные референты наткнулись на эйхенбаумовский текст, и вырвав его из контекста, оторвав от аналитического его смысла, лишив саму лексику Ахматовой образности, они придали его словам тот вульгарный, бранный характер, в котором нет решительно ничего общего ни с

парадоксальным образом героини ахматовской лирики, ни с методом анализа и выводами ученого.

В дневнике Бориса Михайловича я не нашла ни слова об этом цитировании его работы, об этой грубой, злостной передержке его слов и мыслей. Слово "блудница" у него заковычено, выведено из ряда; оно использовано не в прямом, а широком смысле, как образ суетности человеческого бытия, вселенской греховности, выход которой в обращении к Богу: "Все мы бражники здесь, блудницы, как невесело вместе нам..."

Что мог чувствовать Эйхенбаум, слушая доклад Жданова, в котором так странно, так искаженно отозвались его собственные слова?! Мысль о поисках Бога, во что они это превратили?! Он и дневнику своему не доверил эту предательскую историю с цитатой из его книги об Ахматовой...

* * *

В зиму, сразу после Коктебеля, праздновалось пятидесятилетие Бориса Михайловича. Все кажется неправдоподобным, когда всплывает в памяти этот вечер. Неужто я сидела за столом рядом с Тыняновым, а напротив возвышался "Форсайт" Мариенгоф?! А потом с этажа завернули Женя Шварц с мраморной своей Екатериной Ивановной. Появились и эйхенбаумовские визави по лестничной площадке, Миша Козаков и

Зоя. Под редакцией Эйхенбаума в ту пору выпускался Гоголь. Утром я отправила ему телеграмму: "Вывих ноги мешает быть этот день с вами. Подколесин". Телеграммы этой, ее плоского юмора, я, спохватившись, ужасно стеснялась, когда кто-нибудь из гостей ехидно пожимал плечами: "Кто бы это мог быть?" А Тынянов все вертел эту злосчастную бумажку, и все смеялся. Да так благодушно, так незлобно! Эйхенбаумы устроили на этом дне рождения "музей": труды ученого, его старые тапочки... Эти тапочки снимали всякий пафос. Была у него такая прелестная черта, у Бориса Михайловича, – подшучивать над самим собой...

На этом вечере стали для меня реальностью Мариенгофы – Толя и Нюша. До этого еще девченкой встречала я эту знаменитую пару на улице. Они плыли всегда под ручку, мерно покачиваясь, как в танце, шикарные, эффектные, яркое пятно в толпе серых ленинградцев, он – длинноногий денди, она – актриса в мехах. Они оказались непринужденными и заводными, никакого важничанья, и Нюша Никритина, игравшая в том самом Большом Драматическом на Фонтанке, где когда-то "завлитчастью" был Блок, и Толя, тот самый "ах, Толя, Толя, ты ли, ты ли", знаменитый имажинист и автор "Романа без вранья". Никак не вязалось с его обликом ученое теоретизирование, но он написал книжку и об имажинизме, где как об открытии говорил об образности поэзии. Там же было и что-то о "безличности глагола", глаголу объявлялась смерть. Но вопреки акмеистам

отрицалось значение ритма и того, что принято называть в поэзии музыкальностью. Словом, Толя тоже был "ученый" и "теоретик". Но главным были в нем все-таки его беспечность и веселость. Он напоминал большого, резвого пса, бьющего хвостом от довольства жизнью и собой, одет с иголочки, физиономия вытянута на манер Форсайтов из английского телефильма. Нюша была прелесть – небольшая, круглая, черноволосая головка, глаза отливают лаком, румянец. Они были вдвоем сама гармония, а я их прозвала "путаниками". Потому что в моих глазах они путали привычное представление о семейной жизни, как источнике вечных треволнений, проблем и сложностей, – они не знали, что такое семейные проблемы. Как-то в расчет не бралась страшная трагедия их жизни: шестнадцатилетний сын их повесился на входной двери. Проглядели мальчишку, проморгали его несчастную детскую любовь, его муки, занятые собой, только собой...

Об имажинистах стали забывать. Отшумел и "Роман без вранья". А Мариенгофу хотелось "быть", шуметь, напоминать о себе. Он писал скетчики, одноактные (впрочем, и полнометражные), пьески. Чаще всего эта его продукция попадала на самодеятельную сцену. И он решил устроить свой литературный вечер в Клубе писателей, чтоб опять "быть в ряду". Открыть этот вечер должен был Горбачев, актер Александринки, как-то сразу и бурно вошедший в моду. Он тогда еще не руководил, не управлял искусством, а просто был молодой и красивый.

Но к вечеру он заболел, и Мариенгоф в полной панике бросился к Борису Михайловичу. Это был совсем не его жанр, Бориса Михайловича, балагурить на вечерах. Но он не умел отказывать друзьям. На вечере было много народу, и Эйхенбаум старался. Но залу, настроенному на резвый лад, было скучно с этим ученым, с его седыми усиками. Эйхенбаум растерянно сошел со сцены и сел рядом с Ольгой.

Нюша Никритина, захватившая после доклада подмостки, вдруг увидела то, что заставило ее крикнуть: "Занавес, дайте занавес!" Эйхенбаум медленно сползал со стула, когда по инерции она все еще щебетала свой игривый текст.

Так вот он умер, в настроенном на смех зале, как бы сорвавшись с трапеции на цирковой арене. А незадолго до этого мы вместе встречали новый год у моего брата Сережи. Мы сидели с ним на диванчике поодаль от новогоднего бедлама, и он говорил мне, что ужасно хочется жить, еще хоть немного.

* * *

Ольга долго не могла встречаться ни с Толей, ни с Нюшей. Но потом это ощущение толиной, пусть невольной, но вины, стерлось, забылось, и теперь, когда удается попасть в Ленинград, Ольга Эйхенбаум первым делом мчится к старому другу ее отца, Нюше Никритиной, одинокой, старенькой, пережившей и Толю, и себя, когда-то такой сияющей, обворожительной...

Теперь они с Лизкой спускали последнее. Драгоценную библиотеку Бориса Михайловича хотел купить чикагский Университет, но, увы, уже нечего было покупать, – все было пущено в оборот на хлеб насущный, на суп, на плату за квартиру.

В воскресенья я звонила из Нью-Йорка в Москву. Еще недавно были эти блаженные времена, когда тут же соединяли. Подошла Лизка. Что было мне ей говорить? Умер ее муж, удивительный актер Олег Даль. Снова был замечательный триумвират, – Олег, Лизка и Ольга. Тонкий художник, он все метался, не находил себе места, – режиссеры не те, сценарии, пьесы не те, все не то, пил, ненавидел, бросил свою "Малую Бронную", перешел в Малый театр и умер во время съемок в Киеве. Перед отъездом сказал Лизе: "Мне снился Володя. Звал к себе". Ему, как и Высоцкому, было сорок. От чего он умер? Ни от чего. Он даже не пил последнее время. Умер от безнадеги. У Лизы был такой удивленный голос по телефону, когда она сказала: "Он умер ..."

Повестка

Прихожу как-то домой, и сразу вижу, – что-то случилось. У всех не те лица. "Тебе повестка!" Мне? Оттуда? Явиться утром, улица Воинова, комната номер. Большой дом! Зачем я

им? Там "вербуют", там "помогают" советской власти, там заставляют что-то подписывать, там сажают, наконец! Я храбрилась, успокаивала своих, что может это не то, случайность и вообще, что может быть страшного?

В доме было тихо, будто кто умер. Митя пошел со мной. Чем ближе к этой Воинова, тем злей ветер, – там рядом Нева. Март тридцать пятого...

Митя остался на Литейном ждать, как всегда без шапки. Обещал, что если я "задержусь", погреется наискосок у писателей. Там ленинградское отделение Союза. Не помню как я попала в широкий коридор со стульями вдоль стен, как очутилась на одном из этих стульев. Ни души. Тяжелые двери наглухо закрыты, за ними свинцовая немота. Не знаю, какой психиатр, режиссер, какой садист разработал этот трюк с ожиданием, с этой тишиной, про которую говорят, что от нее звенит в ушах, когда на самом-то деле все мертво, зловеще, ни шороха, ни жужжащей мухи. Время остановилось, и вот я уже теряю счет часам, сколько я здесь, в этом "нигде", пять, шесть, девять?! Помню только, что бедный Митька мой там мерзнет. Не пойдет он к писателям, там пропуск нужен. Мне незачем себя приукрашать: я ничего не боялась. Но не от храбрости, я просто ничего не чувствовала, меня как бы не стало. И только где-то в мозгу билось это: холод, Нева, ветер... Митька... И тогда открылась одна из дверей, и теперь я сидела против человека, – мне его не забыть, – хоть были у меня в жизни разные

встречи, разных ”жанров”, достаточно неприятные. Потом, через много лет, я вспомнила о нем, когда меня принимал в своем респектабельном кабинете Фадеев. Мой следователь был похож на Фадеева, а Фадеев – на следователя. Та же нежная голубизна глаз, копна светлых, седеющих волос, – оба красавцы! И та же безуминка, когда вскидываются глаза, усталость, затравленность. Да, именно так! Они оба были затравлены самими собой, своей иногда совершенно некстати вылезающей совестью. Писателю не спрятаться за своими строчками, и в ”Разгроме”, самом искреннем из своих романов, Фадеев как на ладони со своими ”кишочками”, как сказал бы Олейников, с параноической своей одержимостью. В герои у него вышел одичавший сектант Левинсон в этом его ”белесоватом” полушубке, отнимающий кабана у китайца, последнюю его надежду прокормить ребятишек, сохранить им жизнь. Но ”общее дело” выше жизни детей! В советских школах проходят ”Разгром”, – это ”классика”. В этой ”классике” учат той морали, которая позволила Фадееву отдать в руки Сталина своих собратьев по перу, еврейских писателей...

Мой следователь смотрел на меня молча своими ”мученическими”, затравленными, усталыми глазами. Стояла все та же пугающая тишина, пока он заполнял лист допроса. Очень скоро я поняла, что ему от меня нужно. ”Вы советский человек! Вы должны нам помочь”. Речь шла о директоре нашего Института, где паслись, учили русскую грамоту и хлебали щи под сводами

Лавры мои кочевники. Так и есть, Кошкин! Я вспомнила Кошкина. Латыш, маленький, крепенький, очень розовый, в очках. Не знаю, не могу объяснить, как это случилось, какая сила на меня снизошла, но я вдруг весело и оживленно затараторила: ”Конечно, я помогу вам, но и вы должны мне помочь. Этот Кошкин помешался на экономии, жаль ему, видите ли, денег на костюмы и гримы для моей студии. Государственные деньги! А разве моя студия, — не государственное дело?” Все было чистой правдой. Перед глазами у меня стоял Кошкин, гнусавящий свои советские прописные истины. Но следователю с белыми глазами нужна была другая ”правда”. ”Должно быть он не спит ночами”, — теперь уже ”оклемавшись”, думала я, неся свою околесицу про ”плохого” Кошкина, который ”бережет советский рубль”, ведь эти ”славные чекисты” тоже трудятся, недосыпают, боятся... Он молчал, он не прерывал меня, он ничем меня не пугал, не угрожал, но мне вдруг стало здорово не по себе от его размытых, бирюзовых, белесоватых глаз, выдававших его нетерпение, брезгливость, жестокость. Зачем я ломала эту комедию? Можно же было просто сказать: ”Не буду ”помогать”, и все! Ничего не знаю, к Кошкину в кабинет не вхожа”. Но уже нельзя было остановить это юродство, инстинкт самосохранения делал свое безотчетное, дурацкое дело, и я все плела и плела насчет важности фольклора... ”Позвоните Кошкину, скажите ему...”, — марзко-фальшивым голосом просила я следователя, не в силах

остановить этот вздор. Он все молчал. Наконец ему надоело. Он протянул мне бумажку с номером телефона: "В среду в семь вечера позвоните!"

Значит я не вырвалась, не выпуталась. Я попалась, я в лапах этих типов. Уже срабатывало "кировское дело". Сколько наших близких друзей бесследно исчезали день за днем... Ровно в семь в среду сняла трубку, ту самую, что так мирно провисела здесь годы и годы, в этом нашем разъезжем коридоре... Митя стоял рядом. Вот-вот, произойдет это непоправимое, меня снова вызовут, и тогда, – все...

Раздался отрывистый мужской шип: "Положите трубку, никогда не звоните по этому телефону". То ли этот следователь с линялыми васильковыми глазами счел меня полной идиоткой, то ли понял, что со мной каши не сваришь, только они отвалили. И больше никогда не просили "помочь"... Впрочем, не совсем так...

В период добрых хрущевских дел нежданно-негаданно грянула реабилитация, меня вызвали вдруг на Лубянку. Такой же открыткой. Казалось, ничего плохого не могло быть, но кто знает! Теперь со мной пошла моя дочь, и она ждала внизу, как тогда Митя, ее отец, которого не пришлось ей никогда видеть, перепуганная, как и он тогда, советская школьница в коричневом, испившая все, что положено от счастливого детства. На этот раз комната была веселая, залитая солнцем, и встретили меня приветливые парни, и снова этим словом "помочь".

И тут я могла помочь. Речь шла о реабилитации моего бывшего директора Кошкина, человека с розовыми щеками, стоявшего на страже советской копейки, однажды выручившего меня из беды. Тогда, в Большом Доме.

Когда я уходила, меня остановил один из этих веселых парней: "Что вы знаете о судьбе вашего мужа?" Вполне дружелюбно он объяснил мне, что я сама могу поднять дело о его реабилитации. И подробно растолковал, что нужно для этого делать. Он все знал, этот симпатичный паренек, все тайны этих темных дел, и, конечно же, о митиной судьбе.

Я отправилась в Ленинград, к военному прокурору, как посоветовал мне "симпатичный" парень с Лубянки. Думала, будет толпа, очереди, томительное ожидание. Ничего этого не было. Легко нашла я кабинет полковника Петрова, – ни одного человека, – за столом сидел довольно интеллигентного вида военный. Я протянула ему свое "заявление". "Погодите, может оно и не нужно, ваше заявление. Возможно, мы сами подняли дело Жукова. Пройдите в комнату, – прямо и налево. Там и узнаете..." Так вот каков он, этот архив, этот сейф, хранящий чекистские тайны! Все выглядело спокойно и буднично. Стены сплошь затканы стеллажами, и на этих стеллажах удобно расположились папки, папки, папки. Тоненькие и толстенные, разбухшие, страшная летопись жизни и смерти. В этой странной, средневековой камере сидела одна-одинешенька женщина средних лет, должно быть верная чекистка, если ей достался этот

мемориал, эти папки, безмолвные, но неумолимые свидетели преступлений власти против своего же народа. Эта женщина с серым лицом, серыми волосами – загогулина на затылке, – в чем-то скучно-сером встретила меня вполне деловито, – будто я пришла в свою районную библиотеку за новым романом. Она пошарила по стеллажам глазами и нашла нужную букву, подставила лесенку и вытащила невероятно разбухшую папку, Боже, до чего же толстую и тяжелую, – что они ему там шили, что в этих летописях, пропитанных кровью моего мужа?! Я сразу подумала, – значит, они его не сразу расстреляли! Значит, немало времени ушло на истязания, на пытки, которых не знала и инквизиция. Женщина спустилась с лестницы: "Дело находится на пересмотре". Очевидно они только назначили его к "пересмотру", если папка была водворена на место. В углу на столике я заметила круглую электрическую печку и на ней эмалированную кружку. Она здесь еще и кейфует, чаек прихлебывает, эта страшная кладбищенская сторожиха, давно уже сама омертвевшая...

Нам под тридцать

Но все это было уже потом. А пока мы жили, читали "Египетскую марку" в издании "Прибоя", рылись в книгах на Литейном, бегали в кино. Но тут у Мити появился новый приятель, он писал книжки про пограничников и сам рисовал к ним картинки. Его звали Лева Канторович, но решительно ничего от канторов и древних библейских кровей в нем не было. Блондинистый гусар, задира, обожатель дам ("нервный до женщин", как говорил один из героев Зощенко), он пришелся очень по вкусу моему суровому, ученому Мите. Вместе, заступаясь за "вдов и сирот", они били кому-то морду, куда-то неслись, таясь от жен, болтали "про баб", словом прожигали жизнь в меру того, что доступно было жуирам тех лет. В моей жизни это было уже что-то новое. Однажды они говорили по телефону, и я услыхала, как Митя сказал: "Тридцать? Ну нет!" О ком шла речь, и в каком сочетании, не знаю, но это больно хлестнуло меня. Мне, как и ему, уже было под тридцать.

Левка появился как раз тогда, когда в митиной карьере произошел бурный скачек. Его назначили заместителем директора Эрмитажа по отделу Востока. Директором был Иосиф Обгарович Орбели, почтенный, с сильной проседью, в бороде, академик, вообще фигура, хотя никто толком не знал почему он "фигура", в чем его ученость, и какие заслуги перед наукой

вознесли его так высоко. Брат его, физик, тот тоже был академик, но Лео Обгарович Орбели и в самом деле был ученый. Наш Иосиф был эксцентрик, легкомысленный гуляка, как выяснилось. Орбели, к тому же был женат в ту пору на "старой жене", плохо одетой немолодой армянке. Потом в его жизни возникла очаровательная Тося Осоргина, талантливый литератор, знаток французской живописи, она была одним из ведущих сотрудников Эрмитажа. Мы с Тосей дружили. Она была очень красивая, Тося, породистая, тоненькая и элегантная. Она жаловалась мне, когда еще не была женой Иосифа Обгаровича, что никак не одеться, – есть платье, – нет туфель. Есть туфли – нет платья!

Пока же скучающий Орбели прилепился к нам. Куда бы ни заносило нас с Митей по вечерам, он тащился с нами, в гости, в Дом кино, в киношку. Он как бы поселился на нашей Разъезжей и говорил, что влюблен в нас обоих. Через год, когда Митю неожиданно из Эрмитажа выбросили, за пару месяцев до ареста, после мая тридцать седьмого года, Орбели, естественно, выступил на собрании сотрудников Эрмитажа. Он обязан был выступить, сказать что-нибудь подходящее случаю насчет "бдительности" и прочего. Но он не ограничился этим дежурным блюдом, этой "бдительностью", он заявил, вполне внятно и раздельно, что *давно* распознал в Дмитрии Жукове врага, что у него была возможность убедиться в этом в личных с ним встречах. Что ж, академики тоже люди!..

Левка, Орбели и еще один персонаж, – теперь они были главные в моей жизни.

Академик Щербацкий

Третьим был академик Щербацкий. Случилось, что он пригласил Митю к себе в гости. Митя импонировал старым ученым. Его выделял еще Сергей Федорович Ольденбург, а теперь вот Щербацкий. Импонировал тем, что молодой коммунист, сила, и не пустое место в науке. В нем была значительность, в этом молодом Жукове, в его манере держаться, в его независимом, властном лице.

Всемирно известный ученый-буддолог, член Британской и еще каких-то академий, барин, аристократ, Щербацкий жил широко, по-русски хлебосольно, один. В своей старинной питерской квартире он являл собой образец "последнего из могикан", и богатством нетронутых коллекций, и самобытной манерой жизни. У него толклась богема, актеры, он был как бы "меценат", покровительствовал, выдвигал, одобрял. Словом, бывать у Щербацкого, – это была марка. Митя пришел упоенный, – какая роскошь, какой антиквариат, какой Щербацкий! Дальше – больше! Щербацкий стал звать его все чаще и чаще. И Митя стал вытаскивать лучшие галстуки, и лучшие рубашки, и его клетчатый, темно-коричневый костюм стал смотреться как-то особенно парадно. Я очень твердо сказала: "Это неуважение, приглашать тебя одного. Ты ведь

не мальчишка!" Но в этот загадочный для меня дом Митя продолжал ходить один. Каждый раз он говорил, уже натягивая пальто, что будут только свои, Борис Васильев, Щуцкий, словом, востоковеды, ученые. И уходил. А я оставалась с ощущением, что не все ладно в "королевстве датском". Все и было неладно, банально и просто. На очередной ассамблее, – хозяин принимал у себя гастролировавших в Ленинграде мхатовцев, – Митя познакомился с Мариной Пастуховой. Она была ровно на десять лет моложе меня, ей было девятнадцать. И как в романе, он стал "ездить для нее" к Щербацкому, и Щербацкий покровительствовал этой "молодой любви".

Конечно, я знала, что все в жизни бывает, что люди, сросшиеся за много лет в одно целое, вдруг расходятся, разбегаются, разводятся, что бесконечно дорогие, любящие, до слез трогательные, они становятся вдруг злейшими врагами, что мужья бросают жен на полдороге жизни, и что это так же жестоко, как завести человека в лес, как в сказке, чтобы его там съели медведи. Я всегда это знала, но никогда не думала, что это может иметь ко мне хоть какое-нибудь отношение. Я оглянулась и увидела, что все это и для меня, и что десять лет нашей сумасшедшей привязанности ровно ничего не значат, и все может полететь вверх тормашками в один миг! Теперь я начинала понимать, что это за пытка, быть брошенной! Все было совсем не так, когда он "раздваивался" тогда в Токио, – это уже было не мальчишество, это было всерьез, грубо, жестоко!

Он даже пригласил эту Марину к себе, не к нам, конечно, а к себе. Она явилась со своей кокетливой, молодой мамашей. Про эту мамашу говорили, что она была любовницей Щербацкого, а Марина его дочь. Может и так, уж больно академик пекся об этом альянсе. А может и не так, – "художественного значения", как говорил в своих записных книжках Ильф, что-то долго и длинно комментируя, – этот факт "не имел". Митя принимал их в той самой комнате, что рядом с кухней, с примусами, где так славно пелось им с Олейниковым – "дело чести, дело славы...", этот великий афоризм великого Сталина... Наша Татка уже постигала науку передвижения в пространстве, она не только ползала, она уже встала на ноги, пьяновато покачиваясь и поминутно плюхаясь на пол. Когда с ревом, а когда и заливаясь смехом. Вдруг Митя с ликованием влетел в комнату мамы: "Тата пошла на руки к Марине". Спятил, да и только! Эту бестактность трудно было понять и простить. Как он, такой умный, тонкий, глубокий, мог думать, что *моей* маме может быть приятно, что *мой* ребенок доверчиво потянулся к его возлюбленной! Словом, все смешалось...

А в унисон этому всему шла та, другая жизнь. Он ходил зажатый и хмурый, и однажды признался, что его регулярно вызывают в Большой дом. И там ему шьют троцкизм. Брали в тридцать седьмом и так, и этак, и с подготовочкой, и без, с различными вариациями кафкианства, и с этим предварительным психотеррором, и

внезапно, средь ясного неба. Митя был обречен, а мы все еще этому не верили, и все еще жили надеждой, что вот, Академия Наук переедет в Москву, там на Большой Калужской ему обещают двухкомнатную квартиру, и наваждение спадет, и все как-то образуется. Что было делать мне? Моя гордость, мое женское горе были бы сейчас неуместны. Не гнать же его, когда он над пропастью! Этот его роман, до чего же он был не ко времени, – меня он совсем запутал, лишил права на самолюбие, на женскую гордость, на слабость. Я должна была терпеть, чего бы мне это не стоило, когда он молчал или проваливался куда-то, иногда со своим Левкой, иногда неведомо куда. "Она" была в Москве...

Но не стерпел он. Шли мы как-то по Колокольной, недалеко от нашего Кузнечного рынка. Я запомнила этот день с точностью до энной, дату, – это было одиннадцатое апреля, – я запомнила его колючий, злой холод, этого дня, от которого оставалось всего полтора месяца до его ареста, до митиной гибели. Откуда мы шли, зачем, – это ушло, а вот угол, где мы остановились, совершенно пустой, потому что дело шло к ночи, и как я замерзла, и как мне было страшно, – это одно из самых отчетливых воспоминаний всей моей жизни. Митя сорвался и уничтожал меня. Он сыпал оскорбления с бешеной злобой, он перекосился весь от этой злобы, он люто ненавидел меня, а я, обороняясь, как от ударов, отбежала на несколько шагов, но в отличие от пуль слова бьют в цель, если

прицел и не в фокусе. И они били и били меня, эти жестокие, беспощадные слова, которые срываются с уст человека, когда он несчастен, беззащитен, потерян, когда уже нельзя остановиться и, понимаешь, что тебя несет куда-то на последний край, и дальше пустота и конец! "Что ты, что ты!" – я повторяла автоматически только эти два слова, других не было... А у него все путалось, страх, ужас, и эта невпопад возникшая Марина с ее "молодыми клетками", совсем заморочившая ему голову, закрутившая в страстях, отрывающих от реальности, от насущного. Она-то была не мыслитель, и ничего не понимала в том, что уже творилось вокруг. И мамаше ее чудился видный жених, молодой ученый "с положением". Было, возможно, и увлечение, и ее несло вместе с ним в провал. И вот он навинчивал себя, и кричал мне, что ему надоели "спинозы в юбках", и чтоб было мне больней, что я всегда была "слишком умна", что это утомительно и мужчине ни к чему, и что "женщина должна быть женщиной", будто я была засушеной воблой, книжным червем, навязанным ему несправедливой судьбой...

Дома он отошел, затих. Мы поговорили. Меня звал в Москву в Театр Народного Творчества мой старый знакомый, ленинградец Борис Михайлович Филиппов, тот, что теперь "домовой" в литераторском клубе. Нет человека в писательском кругу, который не знал бы Филиппова, умного, по-своему даровитого, "лукавого царедворца", ставшего белым как лунь за те десятилетия, что он бессменно директорствует в доме на Моховой. Театр только-только

создавался. Филиппов собрал вокруг себя интересных людей, – у него замечательный дар привлекать к себе... И тогда, этот новый замысел заманил незаурядных художников, режиссеров, хореографов. Лентулова, Вадима Рындина, Игоря Моисеева. Театр расположился в бывшем театре Оперетты, на Садово-Триумфальной. До этого там был цирк и мюзик-холл, теперь – новый Театр Моссовета. Казалось заманчивым создавать яркие, праздничные действия из плясок, игр, песен всех народов, населяющих нашу пестроязычную, разноликую страну. Мне предлагалось заняться записью фольклора, – у меня уже накопился изрядный опыт в этом экзотическом деле. Если все равно переезжать в Москву, – я перееду первая. Так мы себя обманывали, так мы решили...

Я пошла к Марине, к моей лучшей подруге. У них уже было двое детей, и у них было все хорошо. У Коли выходили его скучные книжки, Марина перезванивалась с писательскими женами. Коля был еще важнее, чем в юности, и уже не вспоминал, что он "полужид-полухам". Мы уже отмахали свое первое взрослое десятилетие, и вот я пришла с исповедью о своем крахе... Мне не следовало этого делать. Зачем? Они не были друзьями, окончательно поняла я это позже...

Хотя следовало бы разобраться в этом давно. У Коли был приятель еще с детских лет, мы его часто встречали у него – Павлик Козловский. Его отец, генерал Козловский, шел по одному делу с Гумилевым во время Кронштадтского

мятежа. И ждала его та же участь, но судьба была к нему милостивей, чем к поэту: с тетрадкой математических формул в кармане он бежал в Швецию, там преподавал, и имя его вроде забылось на родине. И Павлик жил с семьей в своем родном городе, и никто его не тревожил. Коля дорожил этой дружбой, Павел Козловский был в семье Чуковских в почете и, естественно, когда стряслась беда, и в кировские дни ему предложили быстренько собраться со всей семьей и "переехать" куда-то в степи, в Казахстан, мы не сомневались в том, что Чуковские его не оставят...Какой ужасный разговор был у меня по телефону с Мариной. "Нет, мы их не видели. Пойми, мы не можем..." Она начала рыдать в трубку: "Как ты не понимаешь, это невозможно... Ну, пусть мы плохие, но мы боимся, понимаешь, *боимся* ..." Коля часто эпатировал нас: "Что поделаешь, я подлец!"... Мы всерьез этого не принимали, но было в этой полушутке что-то и циничное, скользкое. Так они и не простились с многолетним другом. Имя Павла Козловского для меня всплыло через много лет, когда мне прочитал письмо от него откуда-то из Казахстана драматург Александр Штейн. "В Вашей пьесе "Между ливнями" Вы оболгали моего отца, – писал Козловский. – Зачем Вы это сделали?"...

* * *

Мою исповедь Марина встретила своим обычным фырканьем, она назвала меня дурой, что я все это терплю. Но я ведь не могла ей сказать, что Митю таскают в Большой Дом. И что я связана по рукам и ногам...

Письма из Москвы все приходили и приходили, и наконец-то у меня хватило духу сказать ему, чтоб он пожил, пока не разберется в своем любовном хозяйстве, где-нибудь в другом месте. Я устала от этих писем, от его романа, от всей этой мучительной дури. Но ничего из этого не вышло. Он исчез на пару дней, где ночевал, – не знаю, и позвонил. "Чего звонишь?" – спросила я его почти резво. Он помолчал, трубка потрещала, и тут он сказал: "Мне страшно". Так он вернулся.

С Новым Годом, дорогие товарищи!

А перед тем мы встречали с ним последний наш новый год. Встреча была многосерийной. Сначала Мариинка, где директорствовал еще наш приятель Рувим Шапиро, живой и умный, сгинувший, как и другие, очень скоро. Не помню, что была за опера, но помню аванложу, апельсины, и оживление, и ожидание праздника, вкусной еды, веселья. Сам ритуал встречи прошел для меня странно. Мы были у Давида Межова всей "мариинской" компанией, – он был директо-

ром ленинградского банка. Мы уже давно были с ним знакомы, он взял на себя все заботы о застолье, этот совершенно одинокий, мрачноватого вида человек, живший с известным шиком в своей огромной, необжитой, официальной квартире. Моего Митю захватили дамы, он не взглянул ни разу в мою сторону, и Межов подошел ко мне и стал говорить, что все будет хорошо, и не надо грустить. Все и для него кончилось "хорошо", и он встретил свою голгофу, но тогда, может он и вправду верил, что "все будет хорошо". Но эту мою потерянность он угадал, он попал в точку. Мне было не по себе от этих дам, от Зои Никитиной, ленинградской Мессалины, лихо пожиравшей мужиков, хохотавшей басом и почитавшей себя писательской музой и личностью, вроде Авдотьи Панаевой, подруги Некрасова. Вообще-то, Зоя была персонажем, и о ней будет еще речь впереди. Но мне было не по себе и от другого, от тревоги, от того, что уже хватали, и уже было очень страшно.

Потом кавалькадой, на межовских машинах, поехали к писателям, туда, к Неве. Теперь я иногда думаю, что может мы по заслугам получили за эту свою "элитарность", что и мы ведь отщипывали от этого советского пирога немалую толику! Но враги?! Почему "враги"? Мы были еще очень молоды, и нам хотелось всей этой "мелкобуржуазности", – проехаться на машине, хлебнуть пьяноватого угара, кричать за столиками "С новым годом". Мы ведь не были виноваты в том, что родились не в тайге,

как мои кочевники, или в том, что встречали новый год без "ты меня уважаешь" или "Шумел камыш", и что пили не самогонку, а шампанское, и что наслаждались нашим отравленным городом, и нараспев тянули мандельштамовское "Золотое руно, где же ты, золотое руно!" ... Впрочем, что это я? Уничтожили крестьянство и интеллигенцию. Все были виноваты в том, что родились не такими, какие нужны стране советов. Так уж случилось, что не народ выбирал у нас себе правительство, а правительство – народ! А мы не годились этому правительству. Сколько я себя помню, всегда у меня был этот комплекс: цвет кожи не тот, разрез глаз, вкусы не те, пункт не тот, – все не то, не то, не то... Здорово это у Цвейга, писателя вовсе мною не чтимого, но это у него здорово: Марию-Антуанетту везут на казнь и мы слышим ее внутренний монолог: "Разве я виновата в том, что родилась королевой?!"...

У писателей было бестолково, шутовские колпаки, ленты цветастого серпантина, связавшие столики, людей невсамделишной, наигранной карнавальностью, атмосферой веселья, в котором было больше наигрыша, чем подлинной радости. Пусть без "ты меня уважаешь", но объятия, поцелуи, бурные выяснения отношений, бестолковые пляски, бутылки на столиках и под столиками, пьяные крики, размазанная губная помада, все это было, должно быть, все-таки похоже на миллионы встреч нового года на всей планете. Но снова память назойливо

подсовывает мне образ матери, счастливо обнимающей красавца-сына в военном. Камера наезжает на его рукав, а на рукаве – свастика. Нас ждала все та же ”свастика”, своя и чужая. Все тот же ”Корабль дураков”, терзаемый страстями человеческими, жаждой этих диких плясок, этих размазанных краской губ, этой безрассудной надежды, – этот опутанный иллюзиями ”корабль”, плывущий в гибель. И гибель витала над нашим весельем...

* * *

Я не могу сказать, что все пошло по-старому, когда Митя вернулся после этого звонка. Мы старались делать вид, что впереди Москва, переезд. Но все оставалось прежним с этими московскими письмами от его Марины. И я решила уехать. Дескать, раз все равно переезжать, – я уеду первая, буду работать у Филиппова, а там подтянет ряды и он... Пока Митя остается дома, ребенок – на руках у мамы. Аникеевы звали меня к себе, но первое время я жила в гостинице ”Москва” на восьмом или девятом этаже, с окнами в Охотный ряд, где давно уже не было никаких ”рядов”, пирожков и сидельцев, а выростала ”могучая, кипучая” советская столица...

Суаре с Михалковым

В первый же день в Москве я позвонила Аникеевым. ”Приходи сегодня вечером”, – у Берты был веселый голос и ее заграничное ”хеллоу” звучало приподнято. ”Тут у нас будет кое-кто”...

Аникеевы жили на Остоженке, в уютной московской тиши, хоть и в новом, только что отстроенном, и потому вполне модерновом доме. Квартирка была небольшая, но все мне казалось здесь верхом исключительности и полной для меня недоступности после моей Разъезжей с ее драной черной клеенкой времен Федора Михайловича. И громадный балкон, глядящий в голый щербатый двор, и невиданный комфорт ванны с душем, и всякие сувенирные штучки в гостиной, – все было здесь верхом престижности.

До Японии Аникеев был торгпредом в Турции, а до этого где-то в Европе. Так что неудивительно, что в гостиной было полно всяких заморских штучек, масок, кукол, божков и прочей сувенирной пестрятины. У них было красиво! ”Кое-кто” оказались Наташей Кончаловской, Михалковым и незнакомцем Борисом. Берта мне тут же сообщила, что Борис ”идейный”, и хочет жить только в Советском Союзе. Его с большими трудностями, хлопотами, ”блатами” вытащили из Парижа, где он кончил Сорбонну, и вот, о счастье, он в Москве! Со своим парижским шиком, небрежной элегантностью

и сиянием серых смешливых глаз! Наташа, крупнощекая, румяная, вальяжная, настоящая московская купчиха, привела к Берте на предмет смотрин своего нового избранника, молодого поэта, длинного и нескладного заику, никому пока не известного, но "такого талантливого"! В общем, он был славный, этот Сережа, читавший свои смешные, отнюдь не лишенные остроумия, басни. Михалков только начинал свое восхождение в высшее общество. "Папа плакал над его стихами", – говорила пышнотелая Наташа, и Берта восхищалась и "папой", Петром Петровичем Кончаловским, знаменитым художником, "таким эмоциональным", и "Сережей", его стишатами, и его смешными, в меру "эзоповскими" баснями. Михалков дружил тогда с Шурой Веденским, оба были голодранцы, недокормыши, и конечно же, гении. Интересно, вспоминает ли сейчас Михалков своего старого друга-"обериута", и как вспоминает?!

После басен, остаток вечера мы танцевали. Наташа с Борисом, я – с "Сережей". Патефон "Коламбия" плавно покачивал пластинку. И мы толклись в этом покачивании, в этих ритмических вздохах модных дисков чуть ли не до утра. Вечер удался. Пашенька тихо покуривал свою трубку, Берта, – мне кажется, она чуть завидовала нам, для которых "гремела молодость", она похахатывала своими меццосопранистыми хохотками, когда кто-нибудь из нас вдруг валился на диван от коловерчения. И не было Ленинграда, семейной драмы и этого подкожного ожидания ужаса...

Борис, – он как удар гонга заставил меня встрепенуться. Я никогда не думала, что такие бывают в жизни, – он был неправдоподобно красив. Случались на экране Рудольфы Валентино, но живьем, тут, рядом?! "Ведь вот достался же он какой-то реальной, земной женщине, этот ошеломляющий, обаятельный Борис". Я помню эту первую, больно кольнувшую меня мысль, когда я только его увидела: "Какой же должна быть "она"!"

Через много лет мы вспоминали с Михалковым тот вечер у Аникеевых с фоксом, тащась в поезде с очередной какой-то конференции. "Проблемы детского театра", "Воспитание юного зрителя в духе..." На этом парадном бдении Михалков важно восседал в президиуме, и все что-то писал. Выглядело внушительно: маститый гость внимательно слушает выступающих, делает пометки, набрасывает будущий свой глубокий доклад. В перерыве, заглатывая бесплатные, почетные бутерброды, как всегда ужасно заикаясь, он похвастался: "Заработал две тысс-я-ччи. Пока вы тут сс-тарра-лись..." Что-то сочинил, подхалтурил и высчитал причитающуюся сумму...

Нас тогда возили на берег Байкала, откосы заросли рододендронами, мы набирали голубую, прозрачную воду в стеклянные банки из-под консервов, и банки покрывались матовой испариной. Мы пили эту волшебную воду, ледяную, необыкновенно вкусную, а потом в Доме колхозника "московских товарищей" во главе с великим Михалковым кормили еще и жареными

омулями. Должно быть выловили последних! ”Славное море, священный Байкал!”, и эти омули, и эти лиловые заросли, – куда денешь память...

Нашу обкомовскую машину, любезно предоставленную хозяевами края ”писателю товарищу Михалкову”, окружили голомозые, конопатые мальчишки, явные томы сойеры этого дикого русского берега, должно быть отчаянные пакостники. Михалков растрогался и тут же выдал экспромт (сумма прописью) ”Детям Сибири”. Детей Сибири стихи оставили равнодушными, а вот машина...

И вот мы сбились в купе и вспоминали тот вечер у Берты. Он осторожно меня спросил: ”Вы ее видели?” Я ее видела, с седой, торчащей во все стороны паклей, в опорках, замотанных веревками, с злыми, дикими глазами. Может она в чем-то винила кого-то, кого миновал этот ад. Она потом пришла в себя, но уже никогда не было жизни... В первые дни она позвонила Наташе Кончаловской. Они примчались с Михалковым, навезли тьму нужных вещей, – помню ватное красное одеяло, купленное не где-нибудь, – в Гуме. Он почему-то стеснялся об этом говорить... Чего только не намешано в человеке!

Я вспомнила маленький носик пуговкой Пашеньки, и как он тянул свою трубку, и как меня потом пошел провожать этот неправдоподобный Борис. Мы шли с ним пустынной Москвой, он чуть покачивался. Оказывается, он успел и выпить. И спьяну, должно быть,

брякнул мне в вестибюле гостиницы: "С вами – на край света".

Назавтра, возвращаясь ровно в двенадцать ночи из моего театра, я увидела в вестибюле его фигуру, – очень это было театрально, – высокую, молчаливую, в черном клеенчатом плаще. Тогда это было верхом шика, эта клеенка. Кадр из "заграничного" фильма.

Письма

Я получила письмо из Ленинграда. Он уже не работал. Его отовсюду выставили без всякого объяснения причин. Впрочем, может и была мотивировка, но какая-то липовая. Теперь не было ни Академии Наук (Институт Востоковедения), ни Эрмитажа, ни лекций в Университете. Он писал, что продал патефон, наш милый, посапывающий патефон "Коламбия", но что деньги кончаются и надо продать и "Ундервуд". Ни слова о Марине. А все о нашей Татке, что наде же ей дачу, и вот нет денег. Он жаловался, что от меня нет писем, – почему я не пишу? Не хочу, или по небрежности, просто так? Письмо было горькое, от него веяло таким одиночеством! И я помчалась в Ленинград. В Ленинграде уже брезжили белые ночи, ядовитый их свет сливался с дневным. Сна не было. Мы уже не выясняли отношения. Уже было не до того. Мы шли такой белой ночью по Разъезжей, и мимо промчался "черный ворон". Он сказал:

”Такая машина увезет и меня”. И вот они пришли ровно в двенадцать ночи, и он спросил, впуская их в переднюю: ”Можно моей жене быть при этом?” Они были с винтовками, не с наганами, с винтовками. А утром его увели. Запечатали две наших комнаты красным сургучем и увели.

Пришла почтальонша. Принесла письмо. От Марины. Что уж теперь? Но я не удержалась, я распечатала. Письма стали приходить каждый день. Ее детские каракули были требовательны, настойчивы, жестоки: ”Ты до сих пор *ей* ничего не сказал?” ”Когда же это кончится?” ”Почему ты молчишь?” Она ровно ничего не понимала, эта красивая девочка, так невовремя вскружившая ему голову.

Я ходила в очередь, где ничего не дают, ни мяса, ни бананов, ни луку, где ждешь, ждешь, – деревенеют ноги, и лихорадит, – что скажут, чем обрадуют. В зарешеченное окошко суешь пятьдесят рублей, потом превратившихся в пятерку, – больше ”не положено”. ничего не положено, ни еды, ни теплых вещей. А он ушел без шапки, все-таки он был пижон!..

Лучшая подруга

Ровно через три месяца в Большом доме, в окошко мне буркнули: "Выслан. Больше не приходите". Одиннадцатая пятьдесят восемь. Без права переписки. Одиннадцатая – измена родине.

До этого от него пришло письмецо. Маленький листок, на нем такие невыносимо знакомые буковки. Письмо было прощальное, – "...ты сумеешь воспитать Тату..." И внизу: "Всегда твой, только твой..." Я ломала себе голову: почему это разрешили? Может перед концом? Но зачем им это? И потом была еще одна весть. Меня не было дома, когда они позвонили. Подошла сестра. Они сказали, чтобы приготовили теплые вещи, и что будут звонить, – куда их доставить.

Я поставила у телефона стул. Мне казалось, если я шелохнусь, я что-то пропущу, я опоздаю. Я окаменела. Меня теребил ребенок. Но меня не было. Я ждала звонка. Трубка молчала. Но звонок ведь будет, он может сверкнуть, взорваться, пронзить каждое мгновение, вот сейчас, вот-вот он! Так прошли сутки, потом вторые. Они не позвонили. Теплая ушанка, валенки, руковицы, – все осталось со мной. Так я и не знаю, что тогда было, и что было с ним, бросали ли его по этапам в легком пальтишке, или его сразу не стало, и ему не нужны были ни ушанка, ни рукавицы!

Было по-августовски жарковато, я вывозила коляску в ближайший скверик, где-то около Боровой. Ребенок, – он живет, он требует своего. И вдруг – звонок. Звонила *его* Марина. "Можно мне зайти к вам?" "Приходите в сквер". Она явилась в огромной шляпе, расфуфыренная. О, эта глупая, бестактная шляпа! Наверно она была одна такая, на весь Ленинград.Как я помню эти подрагивающие как желе прозрачные поля, и на них лента и цветочек. "Не могу ли я чем-нибудь помочь Дмитрию Петровичу?" У нее хватило такта назвать его по имени-отчеству. Я сразу нашлась: "Если ему можно помочь, ему помогут и без вас. У него ведь есть жена". Она нисколько не смутилась. "Можно, я буду вам звонить?" "Зачем?" "Я хочу знать о его судьбе". "Звоните!" – сказала я, пожав с некоторым недоумением плечами. Она ни разу не позвонила, но потом, уже после войны мы с ней жили в одном доме, "кутузовском" доме композиторов и театральных работников. Судьба подстроила бывшей красавице Марине ту же ситуацию с более молодой и более соблазнительной соперницей... Пришлось и ей испытать вкус мужского предательства. Но теперь все это уже не имело никакого значения, и я, из чувства добропорядочной женской солидарности, ей вполне сочувствовала...

Что же мне теперь делать? Сидеть в Ленинграде, в этой западне?! Ждать "вырванного с мясом звонка", и этого топота сапог в передней?! У них ведь план, и они неукоснительны в этом "плане"...

У Мити была знакомая, Анечка Беленькая, — он с ней дружил давно. Она была славная, вполне интеллигентная, тут я не ревновала, не было оснований. Что-то толкнуло меня к ней, в дом ее родителей. И в этом доме я застала их гостью, вдову Плеханова, нежданно-негаданно попавшую из Парижа на это чумное светопредставление. Когда-то Беленькие прятали Георгия Валентиновича от царской полиции, и теперь его жена приезжала из Франции навещать своих верных друзей. Она знала Митю, он ей нравился, этой старой, очень скромной и симпатичной даме, напоминавшей мне сразу всех моих теток, тетю Розу, тетю Симу, тетю Лину. Ей ничего не нужно было объяснять. Она сразу же сказала: "Бегите! Не ждите ни минуты, бегите! В этом бедламе они о вас не вспомнят, если не найдут на месте". "Но куда бежать?" "В Сибирь. У вас есть кто-нибудь в Сибири?" "В Сибири та же советская власть, и каждый новый человек там как на ладони". Я представила себе эту тогда незнакомую мне по командировкам, гостиницам, театрам Сибирь, где меня каждый теперь знает: где же я спрячусь, на дальних заимках? У эвенков, в стойбищах тундры, в глубинках совхозов или рудниковых поселков? Но кем я там объявлюсь? И чем эта жизнь "беглой каторжанки" лучше нормальной каторги, нормальной гибели. "Ну, тогда уезжайте в Москву. Там можно потеряться, стать невидимкой..." И я решила, по совету плехановской вдовы, мудрому и доброму совету, "потеряться" в Москве, теперь, когда за мной каждый день, каждый час могли придти...

Все было буднично, я купила билет, села в провонявший дезинфекцией общий вагон, и началась моя ”вита нова”. Я уехала, и они очень скоро пришли. Несчастная моя мама, – на ее долю выпало играть эту трагическую комедию: ”Не знаю, ничего не знаю”. Тогда они взяли подписку о невыезде у всей семьи. Так она осталась на всю жизнь у них, эта подписка, так о ней ни разу и не вспомнили...

А я стала ”москвичкой”. Мой город, город моих родителей, моего деда-николаевского солдата, протрубившего двадцать пять лет в аракчеевских кантонах, что дало его детям право жить в столице, учиться, выходить в люди, этот странный город с его сплавом мундирности и тайны, этот город-отрава, ”любимый до слез”, куда-то отодвинулся, рассеялся в прошлом. Потом уже, в командировках из окон гостиниц видела я то купол Исакия, то полоску каждый раз новой, завораживающей, то ”лимонной”, то угрюмой, то угрожающей Невы, то площадь, на которой некогда стоял ”комод” с Александром третьим, этим ”бегемотом в шапке”, и возникал брехтовский ”эффект отчуждения”, когда все свое, кровное, вдруг отдаляется, и все видишь как бы со стороны, в каком-то новом, сдвинутом повороте. Я чувствовала нечто похожее на то, что испытывают иностранцы: ах, какой город! Но все уже было не моим...

В Москве до меня доходили семейные новости. Сережу выставили из редакции. Выступил один из его приятелей, известный драматург,

– как же это, ведь родственник жены врага народа на такой ответственной должности! Естественно, Сережу прогнали. Еще одна новость. По Ленинграду ходят слухи, что я бросила Митю в беде, что я его предала. Слухи исходили от Марины, моей лучшей подруги. Можно понять их страх, когда они не решились проститься с Павлом Козловским. Сейчас было много страшнее, и мне бы не пришло в голову судить моих стародавних друзей, что их не было со мной в моем ужасе. Но это уже была подлость! За этой клеветой они прятали свое бессердечие, прежде всего к Татке. Таткой звали и их старшую дочь. Это мы начитались Герцена, и наши Натальи стали как в "Былом и думах" Татами. Это нас как бы кровно роднило, этот наш Герцен, и эти наши "Татки"...

Кто же не знал тогда, что никто, никому, ничем помочь не может, хоть бейся в кровь о серый гранит этого "Тауэра", этого проклятого Большого дома. И они это знали прекрасно. И знали, что хватают без разбора жен, и что эта участь предначертана и мне. А Марина, к тому же, знала и мою тайну. Это она кричала мне тогда: "Дура, чего ты терпишь!" А я терпела, и она знала, что если у Мити было бы сто возлюбленных, и сто жен, никогда я его бы не бросила в несчастье. Но я не вольна была выбирать себе судьбу, быть с ним, или не быть с ним. Его увели, и все! И до сих пор я не знаю, куда его увели, и что с ним сделали. После этого, с Мариной и Колей у нас было все кончено. Один раз я встретила ее уже после войны в

Москве. Она остановила меня. "Как живешь?" Ей важно было сообщить: в память Мити они назвали своего младшего тоже Митей. Лучше бы они "в память" подумали о его дочери, которую частенько мне приходилось кормить одной картошкой, картошкой без капельки масла... Потом, когда стали возвращаться тени прошлого, когда хлынула волна уцелевших в лагерях, а кому-то доставались только бумажки: "считать *посмертно* реабилитированным", я встретила Николая Чуковского на главной аллее в Переделкино. Он шествовал как всегда важно, и когда поровнялся со мной, вежливо приподнял фетровую шляпу. Он не остановился, он ничего не спросил...

"Столица нашей Родины, город Москва"

Аникеевы, милые мои Аникеевы, – им было не по себе, я чувствовала как они напряжены, как им муторно, как страшно, когда я возникала на пороге их пока еще не разоренной крепости. Я привезла им этот ужас: "Митя арестован". И теперь они жили этим ужасом, прячась от самих себя, от подкрадывающейся к ним гибели. Тень трагедии легла на их черты. В пьесе Бертольда Брехта "Карьера Артура Луи" есть такой прием: у людей, чья участь Гитлером уже решена, глаза обведены жирной белой чертой. Они живут, строят планы, двигаются, но все уже свершилось, – они обречены. Что-то

похожее было в доме Берты и Пашеньки. По заведенному порядку они вставали рано утром, принимался душ, варилась овсяная каша, внизу ждала машина, но то, что творилось за пределами их уютной квартиры, вкралось зловещей атмосферой конца...

Они боялись меня, хотя бояться меня было наивно: неукоснительно выполнялся план. Но они меня боялись, и я не могла у них ночевать. Насущной, сиюминутной проблемой стала эта ночевка...

Сначала взяли Пашеньку, потом Берту. Прихожу как-то, а дверь запечатана. Я потопталась, вышел сосед, видимо "престижный". Он был очень недоволен поведением Берты: она дралась, ругалась, била "представителей власти". Не к лицу, дипломатическая дама, – и такое поведение! Такой шум подняла!

Моя мелодраматическая бездомность скрашивалась некоторыми преимуществами столицы. Кругом были громады вокзалов с теми самыми туалетами, о которых столь нелестно отзывался Валя Стенич. "Что за страна, в которой, как в тринадцатом веке, сидят орлом!" В Чикаго я видела в гостях у одной американки слайды с этими туалетами. Она была очень горда этими своими московскими трофеями, эта наблюдательная дама...

Почему в России идет вечная какая-то миграция? И это при прописке и прочих методах крепостничества! Куда люди тащатся? Это же кромешный ад, этот Казанский вокзал, заваленный грудами тел, тюками, баулами, корзинами,

орущей ребятней, оловянными кружками, из которых сутками со смаком прихлебывался кипяток. Идет какая-то своя жизнь. Нетерпеливые мужчины все время удаляются что-то узнавать, а женщины будто поселились тут навеки. И все-таки, пусть с трудом, можно бездомному человеку отвоевать себе кусочек каменного пола, а если очень повезет, то и местечко на скамье, где спи себе сладким сном в обнимку с чьим-то смрадным сапогом до первой утренней уборки, когда всю эту кучу людей и тряпья метлами, ведрами, лужами с грязными опилками прижимают к стене. Куда люди едут? Зачем? Чего ищут?

Есть еще почтамты. Там опасней. Всю ночь приходится бегать от окошка к окошку, изображая деловитость. И там не столь комфортно, поскольку негде пристроиться орлом. Там нет этих "таулетов".

Меня все-таки втолкнули к незнакомому человеку, приятелю моих приятелей. Он потом стал моим большим другом. Он жил один и пустил меня в свое логово из самых благородных побуждений. Были такие люди в то варфоломеевское время, они прятали, помогали, игнорируя опасность. Таким был Фред Бассехес. У Фреда было странное логово. В самом пупе Москвы, против "Известий", за внешне презентабельным фасадом, – совершенно трущобный двор с бесконечными переходами, затхлыми закоулками и помойками. Вход с грязной лестницы, где в комнате, в вольной комбинации валились друг на друга книги, кастрюли и рукописи.

Фред окончил ленинградскую Академию Художеств у Матвеева, но скульптором не стал, а стал искусствоведом, – статьи его и книги отличались и знанием дела, и стилистическим изяществом. Но его быт этим изяществом не отличался.

В центре комнаты стояло кресло. Великое кресло! Смесь хламья и прогресса, поскольку оно было хоть и из драной желтой клеенки, но раскладывалось, с шумом, грохотом, скрипом, образуя ложе. По тем временам это было полной новостью, это чудовищно неудобное, корявое, угловатое сооружение, на котором спал Фред. Я расположилась по-царски на его узеньком, видавшем виды, диванчике. О Фреде я знала не только что он эрудит и литератор, но и шизофреник. "Сейчас он в форме, так что ничего не бойся", – подбадривали меня. Я ничего и не боялась, я жила как автомат. Я даже не думала о том, что семья там с подпиской, и могут отобрать ребенка и отправить в детдом. Я была как кисет, из которого выпотрошили табак. Где удавалось – спала, съедала булку и выпивала стакан молока в киоске на Арбате. Был такой киоск, где сейчас устье помпезного Калининского проспекта. Я проглатывала этот стакан холодного молока и вставала следующая задача, – куда девать остаток дня и где спать. В театре можно было не показываться, – там сейчас мертвый сезон. Такой я и пришла к Фреду. Он был трогателен до слез, варил куриный бульон, но так коптил над газом курицу, что

бульон был черный. Однажды он принес мне одеколон ”Магнолия”. Это уже было изысканным вниманием. Мы говорили с ним об арестах и о Рембрандте. И я уже не бегала на Арбат пить молоко и не искала пристанища на ночь. Но однажды утром он поднялся со своего адского кресла в своей полосатой, почти арестантской пижаме, и, я сказала бы – дружелюбно, произнес: ”Я устал от вас, Лида, вы мне надоели. Поискали бы себе другое место. Думаете, я не знаю, кем вы ко мне приставлены?!” Вот так просто и сказал: ”приставлены”. Шизофрения что-то там по-своему сработала, что-то двинула не в ту сторону, и я изгнана. С позором! И снова короткие, сиюминутные задачи, куда идти, что съесть, где преклонить голову...

Вот, кажется, уже нет выхода. И вдруг на Арбате встречаю Элевтера, брата Ираклия Андроникова. Заглазно он назывался у нас ”Лифтером”. С Ираклием у меня сложилось также, как с большинством старых друзей. Жизнь теперь делилась на две эпохи, до митиного ареста, и после. Были друзья, которые перешли из моего прошлого в новые, страшные для меня времена. Их было мало, и среди них Ираклия не было. Как и многие другие, он переходил на другую сторону, когда сталкивался со мной. Или просто меня ”не видел”, не замечал. А мы очень дружили в Ленинграде. Встречались у Эйхенбаумов, в филармонии, у нас. Иногда он засиживался на нашей Разъезжей чуть ли не до утра, и помню, как победно размахивал он таткиной мокрой пеленкой, вытанцовывая

при этом дикие пляски. Мы трещали с ним часами по телефону, когда у него были "проблемы". Теперь он меня не узнавал, – что ему Гекуба?! В последний раз он уезжал в Москву из нашей квартиры, благо вокзал рядом. И стрельнул шесть рублей... Небогатый был жених, но тут же с этими шестью рублями женился, и напрочь. А там уж пошла и карьера. Его гений, – для него не найдешь привычного определения, – его знаменитые устные рассказы были синтезом самых разных талантов, прежде всего писательского и актерского. И все это было неповторимо. Он набрасывал свои смешные, дерзкие, точные, окарикатуренные портреты знакомых и незнакомых нам людей с приметливостью тонкого художника, и мы узнавали окружающий нас мир... В Москве, еще до новой моей эры, он водил меня к знаменитой тетке, Любовь Яковлевне Гуревич, некогда блестящей журналистке, сотруднице либеральной "Речи". Теперь это была толстая, мрачная старуха в черном. Она жила вдвоем с такой же мрачной дочерью, и никто в семье не смел знать – откуда, от кого эта дочь. Такой это был характер! Их было трое, Гуревичей. Дядька Ираклия, Яков Яковлевич, тоже был знаменитость, в дореволюционной "гимназии Гуревича" учиться считалось честью. Бородатого, живого, шумного Гуревича я встречала у Бориса Михайловича Эйхенбаума. И была третья сестра – Анна Яковлевна, просто "Анна Яковлевна", очень милая. Ираклий превратил в один из своих "номеров" рассказ о том, как встретились и поженились его родители.

В Питер приехал молодой юрист из Тифлиса, Лаорсаб Андроникашвили. Познакомился с семьей Гуревичей и влюбился во всех трех сразу. Он говорил, что ему решительно все равно, кто из Гуревичей ему достанется, лишь бы кто-то из троих. И он женился на Анне Яковлевне. Может быть эта гремучая смесь и дала этой чете *такого* Ираклия, и способного физика, в будущем академика грузинской Академии наук Элевтера...

Когда мы с Элевтером столкнулись на Арбате, я рванулась бежать на другую сторону. Сама, автоматически. Но он остановил меня. И, о неожиданный поворот судьбы, у него оказалась комната где-то у черта на куличиках, в которой он фактически не живет. И вот у меня и ключ в кармане. Прощаясь, он крикнул мне вслед, чтоб взяла подушку, там нет подушки...

И вот я тащусь с подушкой, совсем как Иван Бабичев у Олеши. Тихо вползаю в квартиру. Меня встречают подозрительные взгляды каких-то облезлых теток, детский визг и прочие атрибуты затрапезной коммуналки. В комнате Элевтера – прочный запах запустения. В окне тоскливые огоньки необжитой пустыни – новостройка. Я сажусь на кровать и, кажется, сейчас начну рыдать. Первый раз за все время. Но не удается. Без стука входит толстый дядька в майке с роскошными бицепсами и курчавой грудью. Представляется: ''Ответственный съемщик квартиры''. Есть такая высокая должность во всех коммунальных квартирах, – следить и стучать... ''Желаете временно проживать? Жильцы не

против. Только завтра зайдите в паспортный стол, тут налево". И он отбыл, еще раз подтвердив: "завтра!" Только этого мне не доставало – милиции и анкет! Единственное, что мне оставалось, – смываться отсюда немедля, снова бежать! Когда в квартире затихло, я выскочила за дверь и, инстинктивно озираясь, поплелась к трамвайной остановке. Еще успею до ночи к Берте. А там – в Ленинград. Будь что будет, хоть на час, на миг! А подушка осталась на этом многоэтажном пустыре навеки...

Черная клеенка

Я никогда не любила пускать к себе в душу. Я не жаловалась, не плакала, не говорила о своих страхах Берте, но моя самоизоляция кончалась, как только я попадала к ней в лапы. Она была необыкновенно любопытна, особенно к "переливам души". И поскольку она знала, что уже давно у нас с Митей не все ладно, а теперь все это так страшно оборвалось, ей хотелось хоть немного меня поддержать, хоть капелькой мужской заботы. "Позвони Боре, – сказала она, – он ждет твоего звонка". Не знаю, ждал ли он, но я позвонила, поверила, что ждет. Он был дома и сразу же вызвался меня проводить на вокзал. После той ночи, когда он так театрально ждал меня в своей шикарной клеенке в гостинице "Москва", мы несколько раз виделись, были "флюиды" и больше ничего. Ситуация была не для романа. Но все это было

до катастрофы, – теперь, когда я осталась совсем одна, когда я уже не жена, я спряталась в своей гордыне. Как бы он чего не подумал, что теперь я буду за ним гоняться. И я проваливалась в эти вонючие вокзалы, в эти несуразные ночи в чужих углах, но ему не звонила. А он не знал, где я, я и Берте ничего толком не говорила, где я и что...

Теперь он стоял у ступенек вагона, и когда поезд легонько качнулся, он сунул мне свои кожаные перчатки, – на память, вдруг я не вернусь. Уже и проводник вскочил на подножку, когда Борис на ходу, спокойно, вошел в тамбур. С билетом было все быстро улажено, и место в купе у проводника – чего ни делает презренный металл! Но мы не спали. Как когда-то с Митей, мы стояли в проходе у окна всю ночь...

Когда утром шли мы с ним с вокзала по Лиговке, он говорил мне, что нет ничего унизительней для мужчины, чем не иметь возможность защитить женщину, когда ей грозит опасность, и вот, они могут меня взять, а он будет бессилен. Я помню от слова до слова все, что он тогда говорил, словно вижу эту нашу широченную, усеянную трамваями, грязную, захлюпанную осеннюю Лиговку, и запасные пути за оградой, и перебрасывающиеся гудками, шныряющие туда-сюда паровозы, и слышу его мягкий, с растяжкой, с ленцой говор. Что я скажу маме? Она будет оскорблена за Митю, а тут еще забежавшие вперед маринины толки. И почему бывает так, что правой оказывается пошлость?! В самом деле, не успела еще

износить башмаков, и вот, притащила сюда это чужого всем человека, когда Митя еще свежая рана в семье, и вот его любимое ободранное кресло, – здесь он засиживался у мамы допоздна, здесь они вели бесконечные свои беседы, – а теперь в этом кресле этот франтоватый, в твидовом пиджаке красавец...

Должно быть, и Борису было все это не очень-то просто, – здесь все было не его, другого, в этом маленьком мирке с его житейскими буднями и трагедией. Он сидел в этом кресле, прямой, красивый, "Рудольф Валентино", – мне казалось, он похож на этого самого красивóго киноактера в мире. Он сидел у кроватки моей Натальи, – она болела скарлатиной, и искоса, как бы стороной взглядывал на это незнакомое ему существо, дремавшее в обнимку с плюшевой зверюшкой.

Этой же ночью он должен был вернуться в Москву, – и так ведь прогулял день. Сегодня *они* не пришли, но что будет завтра? Я не выходила во двор – никто из соседей меня не видел. Мама молила меня не сидеть в этой западне и вернуться в Москву. И Борис тоже просил, не просил, настаивал...

Шмитовский проезд

В сентябре открывался сезон в Театре Народного Творчества. Театру покровительствовал Фурер, один из секретарей московского Комитета партии и, казалось, никакие бури и смерчи до веселой этой сцены не доходят. Бывают же чудеса, вдруг у меня проскочит, – пока я ничего, никому не скажу, и я смогу там работать и зарабатывать на хлеб. Риск, но надо рисковать! Очень скоро Фурера арестовали и детище его тут же прикрыли. Но пока у меня были эти надежды.

На перроне, не успела я выскочить из вагона, как увидела ищущее, смеющееся лицо моего "Валентино". И теперь я уже не решала сиюсекундные задачи, куда плестись, и где выпить кружку чаю, а покорно дала себя тащить к трамвайной остановке. Целую вечность вез нас трамвай на борин Шмитовский, у Больших Грузин он меня успокоил, сказал, что очень скоро, что здесь мы уже "дома", но вот и Зоопарк, трамвай снова вильнул боком, снова истошный визг, а мы все еще ползем, ползем. Шмитовский – это Красная Пресня. Там были баррикады, там умирали за революцию. Был такой идейный миллионерский сынок, не Шмидт, а Шмит. На заводе своего отца он подпольно ковал оружие для революции. Теперь здесь музей с этими романтическими экспонатами, – ружьями, пулями, пистолетами.

Окно бориной комнаты выходило прямо на высокий забор, а за забором – гвоздильный

завод, должно быть тоже владение Шмита... Живописный пейзаж!... Мой быстротечный роман, замешенный на гибели и ужасе, привел меня в этот "очаг революции"...

Из окна полутемной, заслоненной этим мрачным забором, узкой комнатенки, я видела по утрам как прогуливает свою маленькую дочку антифашист Хайнц, безработный и потрепанный, хотя все на нем, и какая-то "заграничная" куртка, и кепка с большим козырьком, говорили о его иностранном прошлом. Белокурый, голубоглазый, он вывез из "Германии туманной" и вольнолюбивые мечты, и надежды, и своего антифашистского папу, долговязого инженера, и берлинскую маму с аккуратным валиком на голове, целое благопристойное семейство, не разделяющее идей Адольфа Гитлера. Их больше устраивал Сталин, отец народов. В Москве Хайнц женился на ушлой русской девченке и родил дочку, ту, что теперь прогуливал по утрам. Вся эта прогрессивномыслящая компания ютилась в перегороженной тряпками комнате, мало напоминавшей немецкий порядок. Старшее поколение, перепуганное и глухонемое, – ни слова по-русски, – пряталось в джунглях пестрого тряпья, превратившего это жилое помещение в сущий цыганский табор, – я как-то случайно заглянула туда... Однажды вся квартира проснулась от топота и хлопанья дверьми. Потом стало тихо, тихо. Антифашистов выволокли и увезли, а в захламленном этом стойле осталась проживать бойкая молодуха, и уже некому было прогуливать ее

маленькую полуантифашистку Рут вдоль забора, отделявшего нас от бывших владений революционного сынка миллионера.

В другой комнате жила Маруська, прозванная за монгольские скулы и смолу волос и глаз, Маруськой-татаркой. Заглазно, конечно. Ее все боялись. Она была и вороватая, и наглая, и матерщинница, и скандалистка, – больше всех ее боялся ее собственный супруг, белобрысый, тихий, сильно попивавший деревенский паренек. У них было четверо рыжих парней, поочередно пополнявших ряды рабоче-крестьянской армии, с проводами под этим гвоздильным забором, с гиканьем, пьяным ором и плясками до утра. Комната у них была вроде кладовки, крошечная, и как они все туда по ночам втискивались, один Бог только знает. Спали вповалку на полу, чуть ли не друг на дружке. Ванной в квартире не было, хоть это и были знаменитые шмитовские "Новые дома", а в баню, куда надо было ехать трамваем, народонаселение нашей хазы заглядывало редко. Так что быт был "новый", советский, а значит лучший в мире. Мылись в кухне под краном, фыркая, расплескивая воду, забегавшую невзначай в супные кастрюли. Чайников на кухне не водилось, потому что любой, возникший на плите чайник, немедленно экспроприировался Маруськой: "Мой чайник". Так что все кипятили воду у себя, в своих аппартаментах. Никакого особого воровского дарования у Маруськи не было, она терроризировала население квартиры спокойно и открыто: "Это – мое". Страшная тетка, но она была и

выдвющейся личностью, эта Маруська! В день очередных выборов, когда с шести утра надрываются репродукторы, ликуя и возвещая, когда на агитпункте – праздник, торгуют конфетами и прошлогодними бутербродами, и агитаторы в черных костюмах встречают народ с торжественностью великого момента, и вокруг все пестрит кумачем, – вся маруськина банда на агитпункт не явилась. В двенадцатом часу ночи появился в нашей квартире насмерть напуганный агитатор, чтоб умолить восставшее семейство "отдать голоса". Точно не помню, кажется наш район присягал Молотову. "Дайте квартиру – отдадим голоса", – Маруська была неумолима. Все было совершенно скандально и неправдоподобно. Кругом хватали, тащили в застенки, каждый мог думать, что доживает пследние минуты, боялись соседей, прохожих, собственной тени, а Маруська была как монумент. И вот ведь что интересно: ее испугались. Вскоре она переехала в двухкомнатную квартиру, где хоть и некого было обворовывать, но было чуть вольготней, чем в кладовке на Шмитовском.

К вечеру возвращался из редакции мой Рудольф Валентино. В "За рубежом" у Михаила Кольцова – тогда еще не добралась до него чекистская пуля, – Борис строчил свои колонки, а потом приносил домой, в этот наш шмитовский вертеп кульки с едой, а то и подарки, – пару чулок, смущенно выволакиваемую из кармана пальто. На керосинке у меня шипели оладьи. Странная была жизнь. Иногда мы

вылезали в кино, – на Боре еще все было парижское, – экран пел и веселился, что-то вроде:

”Все было вокруг
Голубым и зеленым”.

Послушная Голливуду Любовь Орлова, уже кумир толпы. Смутно помню какую-то ”Аринку”, – все как в стеничевской схеме, ”Гут”, ”Шлехт”, ”Гут” вступает, ”Шлехта” сажают. Но все с шиком, с наклеенными ресницами, и ножки, ножки...

В театрах появился Ленин. Актеры научились сидеть на корточках, картавить и закладывать пальцы за борт жилета. Большой демократ запросто беседовал с солдатиком. Самый человечный из людей. Он бы не допустил, это все Сталин! Мы верили этой сладкой байке. Безумье времени путало доброе и злое. По ночам мне снился Митя, и все один и тот же сон, будто крутят пленку. Во сне какая-то новая его жена, коротконогая уродина с квадратным лицом, и их дочка. Митя свинцовый, зеленый, совсем как потом у Бергмана, в его ”Земляничной поляне”. И он угрюмо молчит, Митя, когда я плачу: ”Как ты мог? Ведь у нас Татка?!” Он потом долгие годы снился мне, этот сон, зеленый Митя и этот ужас.

Иногда я ездила на Переговорную, на улицу Горького. Все то же: от Мити ничего, за мной не приходили...

А мы на этом Шмитовском прицепились друг к другу. Любовь на развалинах, под

разрывами пуль, – обреченная ремарковская любовь. Бесконечные разговоры о Мите, о том, что будет, когда он вернется: моя тоска и борина ревность. Но идет день за днем, и все уже становится похожим на будни, – мы болтаем о Хемингуэе и один раз даже пошли в ресторан в Дом Журналистов. Сидели с Павлом Нилиным, совсем как в "Фиесте" потягивали винцо. И автор написанной позже прекрасной, смелой его "Жестокости", вдруг полоснул меня: "У моих сыновей еврейские плечи". Еще и это, уже тогда...

Чего еще ждать? Мы решили взять Наталью, – Татку-лопатку, как-нибудь справимся. И снова – поезд, бессонное Бологое, утреннее зябкое Колпино, хмурь, застиранное небо. Борис был угрюм, когда провожал меня: "Не забывай меня". Чудак, я же на пару дней! К вечеру в Ленинграде пришла его фототелеграмма, и опять это дурацкое, крошечными буковками, в самом конце, когда уже негде писать: "Не забывай меня". Я посмеялась. Вот мы и собрались. Понимаю, что на душе у моих, отпускающих в неведомое своего маленького божка. Вечером зазвонил телефон. Москва. О, этот Валентино, до чего нетерпелив! Но это был вовсе Сашка, мы его называли Сашкой Толстым. "Боря заболел". "Чем?" Я еще ничего не понимала. Сашка-Толстый мялся. "Тем же, чем Митя". Прежде, чем его голос растаял, я успела сказать "Господи!". И еще какое-то мгновение слушала пустоту...

МЕМУАРЫ

Nikita Khrushchev. Memoirs.

Никита Хрущев. **ВОСПОМИНАНИЯ.** Карм.форм., 1982 (переизд.), 303 стр. **12.00**

В сборник вошли воспоминания о важнейших событиях советской истории, личные воспоминания о Сталине и его семье, о Берии, Мао Цзе-Дуне, о советских ученых, в том числе о Сахарове. Во многих случаях Хрущев критически переосмысливает оценку советской политики и собственные поступки.

Nikita Khrushchev. Memoirs. (Second Book).

Никита Хрущев. **ВОСПОМИНАНИЯ, книга вторая.** Карм. форм., 1981, 288 стр. **12.00**

В сборнике содержатся воспоминания Н. Хрущева о политике СССР на Украине, об отношениях с Югославией и Восточной Германией, о событиях 1956 г. в Венгрии. Включены также заметки об убийстве Кирова, о репрессиях против командиров Красной Армии.

T. Litvinov, M. Rostropovich and others. The Responsibility of a Generation.

Татьяна Литвинова, Виктор Некрасов, Мстислав Ростропович, Эрнст Неизвестный и другие. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЯ. Автобиографические интервью с В. Чалидзе.** 1981, 143 стр. **8.00**

Irina Kichinova-Lifshits. Forgive Me for Living.

Ирина Кичанова-Лифшиц. **ПРОСТИ МЕНЯ ЗА ТО, ЧТО Я ЖИВУ.** 1982, 162 стр. **10.00**

Книга содержит воспоминания о встречах с Михаилом Зощенко, Ю. Олешей, Вл. Лебедевым, С. Маршаком и другими. И. Лифшиц была замужем за Вл. Лебедевым и В. Лифшицом. В книге приведены неопубликованные ранее письма известных деятелей.

МЕМУАРЫ

Lidia Shatunovskaia. **Life in the Kremlin.**

Лидия Шатуновская. **ЖИЗНЬ В КРЕМЛЕ.**

1982, 351 стр. **15.00**

Автор – приемная дочь старого большевика Красикова в 20-40 гг. жила в Кремле и Доме правительства. Книга содержит подробности из жизни известных советских деятелей и их моральные портреты.

Ernst Kolman. **We Should Not Have Lived That Way.**

Арношт (Эрнест) Кольман. **МЫ НЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ТАК ЖИТЬ.** 1982, 367 стр. **18.00**

Честная и последовательная автобиография известного советского и чешского партийного деятеля, выполнявшего многие щекотливые и постыдные поручения партии со времен Ленина, и в конце жизни в 1979 г. отказавшегося от партийного билета. Кольман был широко известен в ученых кругах как один из главных исполнителей преступных интриг Сталина против советской науки. Книга – ценнейший исторический документ.

Paul Miliukov. **Memoirs.**

Павел Милюков. **ВОСПОМИНАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ.**

1982, 398 стр. **15.00**

Репринт II тома "Воспоминаний" (изд. Чехова, 1955). Автор – известный политический деятель России начала века, описывает свое участие в работе Третьей и Четвертой Государственной Думы, рассказывает о революции и Временном правительстве.

Nikolai Valentinov. **Encounters with Lenin.**

Николай Валентинов. **ВСТРЕЧИ С ЛЕНИНЫМ.**

Карм. форм., 1981, 356 стр. **12.00**

Автор – известный публицист и общественный деятель. Книга неоднократно переиздавалась.

Dina Kaminskaya. **The Final Judgment.**

Дина Каминская. **ЗАПИСКИ АДВОКАТА.**

Хр.-Пр., (В печати), 1983 **15.00**

МЕМУАРЫ

Raisa Berg. **Memoirs of a Geneticist.**

Раиса Берг. **СУХОВЕЙ. Воспоминания генетика.** (Выходит весной 1983 г.) **15.00**

Автор – известный советский генетик, активный участник борьбы с засильем Лысенко в биологии. Эта борьба отражена в книге талантливо и увлекательно. Среди известных деятелей, описанных в книге, старый большевик Кржижановский, академик Берг (отец автора), Евгений Шварц, академик Вернадский.

Evgeny Gnedin. **Out of the Labyrinth.**

Евгений Гнедин. **ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА.** (С предисловием *А. Сахарова*). 1982, 120 стр. **8.00**

Автор – один из близких сотрудников советского министра Максима Литвинова в конце 30-х гг. Репрессирован в 1939 г. и освобожден после смерти Сталина. Книга является второй частью мемуаров. Первая часть

"Катастрофа и второе рождение" **10.00**

издана Фондом им. Герцена (имеется у нас в ограниченном количестве).

N. and M. Ulanovsky. **History of one Family.**

Надежда и Майя Улановские. **ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ.** 1982, 450 стр. **15.00**

Мать и дочь рассказывают об уходе из еврейского местечка на гражданскую войну, о служении "мировой революции" в Америке, Китае и Европе в советской разведке, об уроках 1937 года, о лагерях и тюрьмах, о правозащитном движении в Москве. Даны живые портреты от Я. Свердлова, А. Железнякова, Рихарда Зорге до работников НКВД и иностранных коммунистов.

Maria Ioffe. **One Long Night.** (Published in English by New Park Publications.)

Мария Иоффе. **ОДНА НОЧЬ. Повесть о правде.** Хр.-Пр., 1978, 130 стр. **7.00**

Воспоминания. Автор – жена близкого к Троцкому партийца, много лет провела в сталинских лагерях.



ЛИДИЯ ЖУКОВА, 1926 год

Фото М. Наппельбаума